www.LibAid.Ru – Электронная библиотека русской литературы

**Евгений Евтушенко**

**БРАТСКАЯ ГЭС**

**Поэма**

**МОЛИТВА ПЕРЕД ПОЭМОЙ**

Поэт в России - больше чем поэт.

В ней суждено поэтами рождаться

лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,

кому уюта нет, покоя нет.

Поэт в ней - образ века своего

и будущего призрачный прообраз.

Поэт подводит, не впадая в робость,

итог всему, что было до него.

Сумею ли? Культуры не хватает...

Нахватанность пророчеств не сулит...

Но дух России надо мной витает

и дерзновенно пробовать велит.

И, на колени тихо становясь,

готовый и для смерти и победы,

прошу смиренно помощи у вас,

великие российские поэты...

Дай, Пушкин, мне свою певучесть,

свою раскованную речь,

свою пленительную участь -

как бы шаля, глаголом жечь.

Дай, Лермонтов, свой желчный взгляд,

своей презрительности яд

и келью замкнутой души,

где дышит, скрытая в тиши,

недоброты твоей сестра -

лампада тайного добра.

Дай, Некрасов, уняв мою резвость,

боль иссеченной музы твоей -

у парадных подъездов, у рельсов

и в просторах лесов и полей.

Дай твоей неизящности силу.

Дай мне подвиг мучительный твой,

чтоб идти, волоча всю Россию,

как бурлаки идут бечевой.

О, дай мне, Блок, туманность вещую

и два кренящихся крыла,

чтобы, тая загадку вечную,

сквозь тело музыка текла.

Дай, Пастернак, смещенье дней,

смущенье веток,

сращенье запахов, теней

с мученьем века,

чтоб слово, садом бормоча,

цвело и зрело,

чтобы вовек твоя свеча

во мне горела.

Есенин, дай на счастье нежность мне

к березкам и лугам, к зверью и людям

и ко всему другому на земле,

      что мы с тобой так беззащитно любим

Дай, Маяковский, мне

                    глыбастость,

                                  буйство,

                                          бас,

непримиримость грозную к подонкам,

чтоб смог и я,

                  сквозь время прорубаясь,

сказать о нем

               товарищам потомкам.

**ПРОЛОГ**

За тридцать мне. Мне страшно по ночам.

Я простыню коленями горбачу,

лицо топлю в подушке, стыдно плачу,

что жизнь растратил я по мелочам,

а утром снова так же ее трачу.

Когда б вы знали, критики мои,

чья доброта безвинно под вопросом,

как ласковы разносные статьи

в сравненье с моим собственным разносом,

вам стало б легче, если в поздний час

несправедливо мучит совесть вас.

Перебирая все мои стихи,

я вижу: безрассудно разбазарясь,

понамарал я столько чепухи...

а не сожжешь: по свету разбежалась.

Соперники мои,

               отбросим лесть

и ругани обманчивую честь.

Размыслим-ка над судьбами своими.

У нас у всех одна и та же есть

болезнь души.

              Поверхностность ей имя.

Поверхностность, ты хуже слепоты.

Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.

Быть может, от безграмотности ты?

А может, от боязни корни выдрать

деревьев, под которыми росла,

не посадив на смену ни кола?!

И мы не потому ли так спешим,

снимая внешний слой лишь на полметра,

что, мужество забыв, себя страшим

самой задачей - вникнуть в суть предмета?

Спешим... Давая лишь полуответ,

поверхностность несем, как сокровенья,

не из расчета хладного, - нет, нет! -

а из инстинкта самосохраненья.

Затем приходит угасанье сил

и неспособность на полет, на битвы,

и перьями домашних наших крыл

подушки подлецов уже набиты...

Метался я... Швыряло взад-вперед

меня от чьих-то всхлипов или стонов

то в надувную бесполезность од,

то в ложную полезность фельетонов.

Кого-то оттирал всю жизнь плечом,

а это был я сам. Я в страсти пылкой,

наивно топоча, сражался шпилькой,

где следовало действовать мечом.

Преступно инфантилен был мой пыл.

Безжалостности полной не хватало,

а значит, полной жалости...

                             Я был

как среднее из воска и металла

и этим свою молодость губил.

Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:

помочь тому, что долженствует цвесть,

и отомстить, не позабыв об этом,

всему тому, что заслужило месть!

Боязнью мести мы не отомстим.

Сама возможность мести убывает,

и самосохранения инстинкт

не сохраняет нас, а убивает.

Поверхностность - убийца, а не друг,

здоровьем притворившийся недуг,

опутавший сетями обольщений...

На частности разменивая дух,

мы в сторону бежим от обобщений.

Теряет силы шар земной в пустом,

оставив обобщенья на потом.

А может быть, его незащищенность

и есть людских судеб необобщенность

в прозренье века, четком и простом?!

...Я ехал по России вместе с Галей,

куда-то к морю в «Москвиче» спеша

от всех печалей...

                   Осень русских далей

пообок золотела все усталей,

листами под покрышками шурша,

и отдыхала за рулем душа.

Дыша степным, березовым, соснистым,

в меня швырнув немыслимый массив,

на скорости за семьдесят, со свистом,

Россия обтекала наш «Москвич».

Россия что-то высказать хотела

и что-то понимала, как никто.

Она «Москвич» вжимала в свое тело

и втягивала в самое нутро.

И, видимо, с какою-то задумкой,

скрывающей до срока свою суть,

мне подсказала сразу же за Тулой

на Ясную Поляну повернуть.

И вот в усадьбу, дышащую ветхо,

вошли мы, дети атомного века,

спешащие, в нейлоновых плащах,

и замерли, внезапно оплошав.

И, ходоков за правдою потомки,

мы ощутили вдруг в минуту ту

все те же, те же на плечах котомки

и тех же ног разбитых босоту.

Немому повинуясь повеленью,

закатом сквозь листву просквожены,

вступили мы в тенистую аллею

по имени «Аллея Тишины».

И эта золотая просквоженность,

не удаляясь от людских недоль,

снимала суету, как прокаженность,

и, не снимая, возвышала боль.

Боль, возвышаясь, делалась прекрасной,

в себе соединив покой и страсть,

и дух казался силою всевластной,

но возникал в душе вопрос бесстрастный -

и так ли уж всевластна эта власть?

Добились ли каких-то изменений

все те, кому от нас такой почет,

чей дух обширней наших измерений?

Добились?

           Или все как встарь течет?

А между тем - усадьбы той хозяин,

невидимый, держал нас на виду

и чудился вокруг: то проскользая

седобородым облаком в пруду,

то слышался своей походкой крупной

в туманности дымящихся лощин,

то часть лица являл в коре огрублой,

изрезанной ущельями морщин.

Космато его брови прорастали

в дремучести бурьянной на лугу,

и корни на тропинках проступали,

как жилы на его могучем лбу.

И, не ветшая, - царственно древнея,

верша вершинным шумом колдовство,

вокруг вздымались мощные деревья,

как мысли неохватные его.

Они стремились в облака и недра,

шумели все грознее и грозней,

и корни их вершин росли из неба,

вглубь уходя вершинами корней...

Да, ввысь и вглубь - и лишь одновременно!

Да, гениальность - выси с глубью связь!..

Но сколькие живут все так же бренно,

в тени великих мыслей суетясь...

Так что ж, напрасно гениям горелось

во имя изменения людей?

И, может быть, идей неустарелость -

свидетельство бессилия идей?

Который год уже прошел, который,

а наша чистота, как во хмелю,

бросается Наташею Ростовой

к лжеопыту - повесе и вралю!

И вновь и вновь - Толстому в укоренье -

мы забываем, прячась от страстей,

что Вронский - он черствее, чем Каренин,

в мягкосердечной трусости своей.

А сам Толстой?

               Собой же поколеблен,

он своему бессилью не пример, -

беспомощно метавшийся, как Левин,

в благонаивном тщанье перемен?..

Труд гениев порою их самих

пугает результатом подсомненным,

но обобщенья каждого из них,

как в битве, - сантиметр за сантиметром.

Три величайших имени России

пусть нас от опасений оградят.

Они Россию заново родили

и заново не раз ее родят.

Когда и безъязыко и незряче

она брела сквозь плети, батожье,

явился Пушкин просто и прозрачно,

как самоосознание ее.

Когда она усталыми глазами

искала своих горестей исток, -

как осмысленье зревшего сознанья,

пришел Толстой, жалеюще-жесток,

но - руки заложив за ремешок.

Ну, а когда ей был неясен выход,

а гнев необратимо вызревал, -

из вихря Ленин вырвался, как вывод,

и, чтоб ее спасти, ее взорвал!

Так думал я запутанно, пространно,

давно оставив Ясную Поляну

и сквозь Россию мчась на «Москвиче»

с любимой, тихо спящей на плече.

Сгущалась ночь, лишь слабо розовеясь

по краешку...

               Летели в лоб огни.

Гармошки заливались.

                     Рыжий месяц

заваливался пьяно за плетни.

Свернув куда-то в сторону с шоссе,

затормозил я, разложил сиденья,

и мы поплыли с Галей в сновиденья

сквозь наважденья звезд - щека к щеке...

Мне снился мир

                 без немощных и жирных,

без долларов, червонцев и песет,

где нет границ, где нет правительств лживых,

ракет и дурно пахнущих газет.

Мне снился мир, где все так первозданно

топорщится черемухой в росе,

набитой соловьями и дроздами,

где все народы в братстве и родстве,

где нет ни клеветы, ни поруганий,

где воздух чист, как утром на реке,

где мы живем, навек бессмертны,

                                 с Галей,

как видим этот сон - щека к щеке...

Но пробудились мы...

                     «Москвич» наш дерзко

стоял на пашне, ткнувшийся в кусты.

Я распахнул продрогнувшую дверцу,

и захватило дух от красоты.

Над яростной зарею, красной, грубой,

с цигаркой, сжатой яростно во рту,

вел самосвал парнишка стальнозубый,

вел яростно на яростном ветру.

И яростно, как пламенное сопло,

над чернью пашен, зеленью лугов

само себя выталкивало солнце

из яростно вцепившихся стогов.

И облетали яростно деревья,

и, яростно скача, рычал ручей,

и синева, алея и ярея,

качалась очумело от грачей.

Хотелось так же яростно ворваться,

как в ярость, в жизнь, раскрывши ярость крыл...

Мир был прекрасен. Надо было драться

за то, чтоб он еще прекрасней был!

И снова я вбирал, припав к баранке,

в глаза неутолимые мои

Дворцы культуры.

                 Чайные.

                           Бараки.

Райкомы.

          Церкви.

                   И посты ГАИ.

Заводы.

         Избы.

                 Лозунги.

                          Березки.

Треск реактивный в небе.

                          Тряск возков.

Глушилки.

           Статуэтки-переростки

доярок, пионеров, горняков.

Глаза старух, глядящие иконно.

Задастость баб.

                  Детишек ералаш.

Протезы.

          Нефтевышки.

                       Терриконы,

как груди возлежащих великанш.

Мужчины трактора вели. Пилили.

Шли к проходной, спеша потом к станку.

Проваливались в шахты. Пиво пили,

располагая соль по ободку.

А женщины кухарили. Стирали.

Латали, успевая все в момент.

Малярили. В очередях стояли.

Долбили землю. Волокли цемент.

Смеркалось вновь.

                  «Москвич» был весь росистый.

и ночь была звездами всклень полна,

а Галя доставала наш транзистор,

антенну выставляя из окна.

Антенна упиралась в мирозданье.

Шипел транзистор в Галиных руках.

Оттуда,

         не стыдясь перед звездами,

шла бодро ложь на стольких языках!

О, шар земной, не лги и не играй!

Ты сам страдаешь - больше лжи не надо!

Я с радостью отдам загробный рай,

чтоб на земле поменьше было ада!

Машина по ухабам бултыхалась.

(Дорожники, ну что ж вы, стервецы!)

Могло казаться, что вокруг был хаос,

но были в нем «начала» и «концы».

Была Россия -

               первая любовь

грядущего...

             И в ней, вовек нетленно,

запенивался Пушкин где-то вновь,

загустевал Толстой, рождался Ленин.

И, глядя в ночь звездастую, вперед,

я думал, что в спасительные звенья

связуются великие прозренья

и, может, лишь звена недостает...

Ну что же, мы живые.

                     Наш черед.

**МОНОЛОГ ЕГИПЕТСКОЙ ПИРАМИДЫ**

Я -

    египетская пирамида.

Я легендами перевита.

И писаки

         меня

              разглядывают,

и музеи

        меня

             раскрадывают,

и ученые возятся с лупами,

пыль пинцетами робко сколупывая,

и туристы,

           потея,

                  теснятся,

чтоб на фоне бессмертия сняться.

Отчего же пословицу древнюю

повторяют феллахи и птицы,

что боятся все люди

                    времени,

а оно -

        пирамид боится!

Люди, страх вековой укротите!

Стану доброй,

             только молю:

украдите,

          украдите,

                    украдите память мою!

Я вбираю в молчанье суровом

всю взрывную силу веков.

Кораблем космическим

                    с ревом

отрываюсь

           я

            от песков.

Я плыву марсианским таинством

над землей,

            над людьми-букашками,

лишь какой-то туристик болтается,

за меня зацепившись подтяжками.

Вижу я сквозь нейлонно-неоновое:

государства лишь внешне новы.

Все до ужаса в мире не новое -

тот же древний Египет -

                        увы!

Та же подлость в ее оголтении.

Те же тюрьмы -

               только модерные.

То же самое угнетение,

только более лицемерное.

Те же воры,

            жадюги,

                    сплетники,

торгаши...

           Переделать их!

                          Дудки!

Пирамиды недаром скептики.

Пирамиды -

           они не дуры.

Облака я углами раздвину

и прорежусь,

             как призрак, из них.

Ну-ка, сфинкс под названием Россия,

покажи свой таинственный лик!

Вновь знакомое вижу воочию -

лишь сугробы вместо песков.

Есть крестьяне,

                и есть рабочие,

и писцы -

          очень много писцов.

Есть чиновники,

                есть и армия.

Есть, наверное,

               свой фараон.

Вижу знамя какое-то...

                       Алое!

А, -

     я столько знавала знамен!

Вижу,

      здания новые грудятся,

вижу,

      горы встают на дыбы.

Вижу,

      трудятся...

                   Невидаль - трудятся!

Раньше тоже трудились рабы...

Слышу я -

          шумит первобытно

их

   тайгой называемый лес.

Вижу что-то...

               Никак, пирамида!

«Эй, ты кто?»

              «Я - Братская ГЭС».

«А, слыхала:

             ты первая в мире

и по мощности,

                и т.п.

Ты послушай меня,

                  пирамиду.

Кое-что расскажу я тебе.

Я, египетская пирамида,

как сестре, тебе душу открою.

Я дождями песка перемыта,

но еще не отмыта от крови.

Я бессмертна,

              но в мыслях безверье,

и внутри все кричит и рыдает.

Проклинаю любое бессмертье,

если смерти -

              его фундамент!

Помню я,

          как рабы со стонами

волокли под плетями и палками,

поднатужась,

             глыбу стотонную

по песку

         на полозьях пальмовых.

Встала глыба...

                Но в поисках выхода

им велели без всякой запинки

для полозьев ложбинки выкопать

и ложиться в эти ложбинки.

И ложились рабы в покорности

под полозья:

             так бог захотел...

Сразу двинулась глыба по скользкости

их раздавливаемых тел.

Жрец являлся...

                С ухмылкой пакостной

озирая рабов труды,

волосок, умащеньями пахнущий,

он выдергивал из бороды.

Самолично он плетью сек

и визжал:

          «Переделывать, гниды!» -

если вдруг проходил волосок

между глыбами пирамиды.

И -

    наискосок

в лоб или висок:

«Отдохнуть часок?

Хлеба хоть кусок?

Жрите песок!

Пейте сучий сок!

Чтоб - ни волосок!

Чтоб - ни волосок!»

А надсмотрщики жрали,

                      толстели

и плетьми свою песню свистели.

ПЕСНЯ НАДСМОТРЩИКОВ

Мы надсмотрщики,

мы -

     твои ножки,

                 трон.

При виде нас

             морщится

                      брезгливо

                                фараон.

А что он без нас?

Без наших глаз?

Без наших глоток?

Без наших плеток?

Плетка -

         лекарство,

хотя она не мед.

Основа государства -

надсмотр,

         надсмотр.

Народ без назидания

работать бы не смог.

Основа созидания -

надсмотр,

         надсмотр.

И воины, раскиснув,

бежали бы, как сброд.

Основа героизма -

надсмотр,

         надсмотр.

Опасны,

        кто задумчивы.

Всех мыслящих -

                к закланью.

Надсмотр за душами

важней,

         чем над телами.

Вы что-то загалдели?

Вы снова за нытье?

Свободы захотели?

А разве нет ее?

(И звучат не слишком бодро

голоса:

        «Есть!

                Есть!» -

то ли есть у них свобода,

то ли хочется им есть!)

Мы -

     надсмотрщики.

Мы гуманно грубые.

Мы вас бьем не до смерти,

для вашей пользы, глупые.

Плетками

          по черным

спинам

       рубя,

внушаем:

         «Почетна

работа

       раба».

Что о свободе грезить?

Имеете вы, дурни,

свободу -

          сколько влезет

молчать,

         о чем вы думаете.

Мы - надсмотрщики.

С нас тоже

           пот ручьем.

Рабы,

      вы нас не можете

упрекнуть

          ни в чем.

Мы смотрим настороженно.

Мы псы -

         лишь без намордников.

Но ведь и мы,

              надсмотрщики, -

рабы других надсмотрщиков.

А над рабами стонущими, -

раб Амона он -

надсмотрщик всех надсмотрщиков,

наш бедный фараон.

П и р а м и д а   п р о д о л ж а е т:

Но за рабство рабы не признательны.

Несознательны рабы,

                     несознательны.

Им не жалко надсмотрщиков,

                           рабам,

им не жалко фараона,

                     рабам, -

на себя не хватает жалости.

И проходит стон по рядам,

стон усталости.

ПЕСНЯ РАБОВ

Мы рабы... Мы рабы... Мы рабы...

Как земля, наши руки грубы.

Наши хижины - наши гробы.

Наши спины тверды, как горбы.

Мы животные. Мы для косьбы,

молотьбы, а еще городьбы

пирамид, - возвеличить дабы

фараонов надменные лбы.

Вы смеетесь во время гульбы

среди женщин, вина, похвальбы,

ну а раб - он таскает столбы

и камней пирамидных кубы.

Неужели нет сил для борьбы,

чтоб когда-нибудь встать на дыбы?

Неужели в глазах голытьбы -

предначертанность вечной судьбы

повторять: «Мы рабы... Мы рабы...»?

П и р а м и д а   п р о д о л ж а е т:

А потом рабы восставали,

фараонам за все воздавали,

их швыряли под ноги толп...

А какой из этого толк?

Я,

   египетская пирамида,

говорю тебе,

             Братская ГЭС:

столько в бунтах рабов перебито,

но не вижу я что-то чудес.

Говорят,

          уничтожено рабство...

Не согласна:

             еще мощней

рабство

         всех предрассудков классовых,

рабство денег,

                рабство вещей.

Да,

    цепей старомодных нет,

но другие на людях цепи -

цепи лживой политики,

                      церкви

и бумажные цепи газет.

Вот живет человечек маленький.

Скажем, клерк.

              Собирает он марки.

Он имеет свой домик в рассрочку.

Он имеет жену и дочку.

Он в постели начальство поносит,

ну а утром доклады подносит

изгибаясь, кивает:

                    «Йес...»

Он свободен,

             Братская ГЭС!

Ты жестоко его не суди.

Бедный малый,

              он раб семьи.

Ну а вот

          в президентском кресле

человечек другой,

                   и если,

предположим, он даже не сволочь,

что он сделать хорошего сможет?

Ведь, как трон фараона,

                        без новшеств

кресло -

         в рабстве у собственных ножек.

Ну а ножки -

             те, кто поддерживают

и когда им надо,

                 придерживают.

Президенту надоедает,

что над ним

             чье-то «надо!» витает,

но бороться поздно:

                     в их лести

кулаки увязают,

                как в тесте.

Президент сопит обессиленно:

«Ну их к черту!

                 Все опостылело...»

Гаснут в нем благородные страсти...

Кто он?

        Раб своей собственной власти.

Ты подумай,

            Братская ГЭС,

в скольких людях -

                   забитость,

                              запуганность.

Люди,

      где ваш хваленый прогресс?

Люди,

      люди,

            как вы запутались!

Наблюдаю гранями строгими

и потрескавшимися сфинксами

за великими вашими стройками,

за великими вашими свинствами.

Вижу:

      дух человеческий слаб.

В человеке

           нельзя

                  не извериться.

Человек -

          по природе раб.

Человек

        никогда не изменится.

Нет,

     отказываюсь наотрез

ждать чего-то...

                 Прямо,

                        открыто

говорю это,

           Братская ГЭС,

я, египетская пирамида.

МОНОЛОГ БРАТСКОЙ ГЭС

Пирамида,

         я дочь России,

непонятной тебе земли.

Ее с детства плетьми крестили,

на клочки разрывали,

                     жгли.

Ее душу топтали, топтали,

нанося за ударом удар,

печенеги,

          варяги,

                  татары

и свои -

         пострашнее татар.

И лоснились у воронов перья,

над костьми вырастало былье,

и сложилось на свете поверье

о великом терпенье ее.

Прославлено терпение России.

Оно до героизма доросло.

Ее, как глину, на крови месили,

ну, а она терпела, да и все.

И бурлаку, с плечом, протертым лямкой,

и пахарю, упавшему в степи,

она шептала с материнской лаской

извечное: «Терпи, сынок, терпи...»

Могу понять, как столько лет Россия

терпела голода и холода,

и войн жестоких муки нелюдские,

и тяжесть непосильного труда,

и дармоедов, лживых до предела,

и разное обманное вранье,

но не могу осмыслить: как терпела

она само терпение свое?!

Есть немощное, жалкое терпенье.

В нем полная забитость естества,

в нем рабская покорность, отупенье...

России суть совсем не такова.

Ее терпенье - мужество пророка,

который умудренно терпелив.

Она терпела все...

                   Но лишь до срока,

как мина.

          А потом

                  случался

                           взрыв!

     П р е р в а л а   п и р а м и д а:

                              Я против

всяких взрывов...

                  Навиделась я!

Колют,

       рубят,

              а много ли проку?

Только кровь проливается зря!

Б р а т с к а я   Г ЭС   п р о д о л ж а е т:

Зря?

     Зову я на память прошлое,

про себя повторяя вновь

строки вещие:

              "...Дело прочно,

когда под ним струится кровь».

И над кранами,

               эстакадами,

пирамида,

          к тебе сквозь мошку

поднимаю ковшом экскаватора

в кабаках и боярах Москву.

Погляди-ка:

            в ковше над зубьями

золотые

        торчат купола.

Что случилось там?

                   Что насупленно

раззвонились колокола?

КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Как во стольной Москве белокаменной

вор по улице бежит с булкой маковой.

Не страшит его сегодня самосуд.

Не до булок...

               Стеньку Разина везут!

Царь бутылочку мальвазии выдаивает,

перед зеркалом свейским

                        прыщ выдавливает,

примеряет новый перстень-изумруд -

и на площадь...

                Стеньку Разина везут!

Как за бочкой бокастой

                      бочоночек,

за боярыней катит боярчоночек.

Леденец зубенки весело грызут.

Нынче праздник!

                Стеньку Разина везут!

Прет купец,

            треща с гороха.

Мчатся вскачь два скомороха.

Семенит ярыжка-плут...

Стеньку Разина везут!!

В струпьях все,

                едва живые

старцы с вервием на вые,

что-то шамкая,

               ползут...

Стеньку Разина везут!

И срамные девки тоже,

под хмельком вскочив с рогожи,

огурцом намазав рожи,

шпарят рысью -

               в ляжках зуд...

Стеньку Разина везут!

И под визг стрелецких жен,

под плевки со всех сторон

на расхристанной телеге

плыл

     в рубахе белой

                    он.

Он молчал,

           не утирался,

весь оплеванный толпой,

только горько усмехался,

усмехался над собой:

«Стенька, Стенька,

                 ты как ветка,

потерявшая листву.

Как в Москву хотел ты въехать!

Вот и въехал ты в Москву...

Ладно,

       плюйте,

               плюйте,

                      плюйте -

все же радость задарма.

Вы всегда плюете,

                  люди,

в тех,

       кто хочет вам добра.

А добра мне так хотелось

на персидских берегах

и тогда,

         когда летелось

вдоль по Волге на стругах!

Что я ведал?

               Чьи-то очи,

саблю,

       парус

             да седло...

Я был в грамоте не очень...

Может, это подвело?

Дьяк мне бил с оттяжкой в зубы,

приговаривал,

              ретив:

«Супротив народа вздумал!

Будешь знать, как супротив!»

Я держался,

            глаз не прятал.

Кровью харкал я в ответ:

«Супротив боярства -

                     правда.

Супротив народа -

                  нет.

От себя не отрекаюсь,

выбрав сам себе удел.

Перед вами,

            люди, каюсь,

но не в том,

             что дьяк хотел.

Голова моя повинна.

Вижу,

      сам себя казня:

я был против -

               половинно,

надо было -

            до конца.

Нет,

     не тем я, люди, грешен,

что бояр на башнях вешал.

Грешен я в глазах моих

тем, что мало вешал их.

Грешен тем,

            что в мире злобства

был я добрый остолоп.

Грешен тем,

            что, враг холопства,

сам я малость был холоп.

Грешен тем,

            что драться думал

за хорошего царя.

Нет царей хороших,

                   дурень...

Стенька,

         гибнешь ты зазря!»

Над Москвой колокола гудут.

К месту Лобному

                Стеньку ведут.

Перед Стенькой,

                на ветру полоща,

бьется кожаный передник палача,

а в руках у палача

                   над толпой

голубой топор,

               как Волга, голубой.

И плывут, серебрясь,

                     по топору

струги,

        струги,

                будто чайки поутру...

И сквозь рыла,

               ряшки,

                      хари

целовальников,

               менял,

словно блики среди хмари,

Стенька

        ЛИЦА

             увидал.

Были в ЛИЦАХ даль и высь,

а в глазах,

            угрюмо-вольных,

словно в малых тайных Волгах,

струги Стенькины неслись.

Стоит все терпеть бесслезно,

быть на дыбе,

              колесе,

если рано или поздно

прорастают

           ЛИЦА

                грозно

у безликих на лице...

И спокойно

           (не зазря он, видно, жил)

Стенька голову на плаху положил,

подбородок в край изрубленный упер

и затылком приказал:

                     «Давай, топор...»

Покатилась голова,

                    в крови горя,

прохрипела голова:

                   «Не зазря...»

И уже по топору не струги -

струйки,

         струйки...

Что, народ, стоишь, не празднуя?

Шапки в небо - и пляши!

Но застыла площадь Красная,

чуть колыша бердыши.

Стихли даже скоморохи.

Среди мертвой тишины

перескакивали блохи

с армяков

          на шушуны.

Площадь что-то поняла,

площадь шапки сняла,

и ударили три раза

клокоча,

         колокола.

А от крови и чуба тяжела,

голова еще ворочалась,

                       жила.

С места Лобного подмоклого

туда,

      где голытьба,

взгляды

        письмами подметными

швыряла голова...

Суетясь,

         дрожащий попик подлетел,

веки Стенькины закрыть он хотел.

Но, напружившись,

                  по-зверьи страшны,

оттолкнули его руку зрачки.

На царе

        от этих чертовых глаз

зябко

      шапка Мономаха затряслась,

и, жестоко,

            не скрывая торжества,

над царем

          захохотала

                     голова!..

Б р а т с к а я   Г Э С   п р о д о л ж а е т:

Пирамида,

          тебя расцарапало?

Ты очнись -

            все это вдали,

а в подъятом ковше экскаватора

лишь горстища русской земли.

Но рокочет,

            неистребимое,

среди царства тайги и зверья

повторяемое турбинами

эхо Стенькиного

                «Не зазря...».

Погляди -

          на моих лопастях,

пузырясь,

           мерцая

                  и лопаясь,

совмещаясь,

             друг друга толкая,

исчезая и возникая,

среди брызг

            в голубом гуденье

за виденьем

            летит

                  виденье...

Вижу в пенной могучей музыке

Ангары

       да и моря Братского -

Спартака,

          Яна Гуса,

                    Мюнцера,

и Марата,

          и Джорджа Брауна.

Катерами швыряясь

                  и лодками,

волны валятся,

               волоча

и рябую улыбку Болотникова,

и цыганский оскал Пугача.

Проступают сквозь шивера

декабристские кивера.

Я всю душу России вытащу,

я всажу в столетия

                   бур.

Я из прошлого

              светом выхвачу

запурженный

            Петербург.

ДЕКАБРИСТЫ

Над петербургскими домами,

над воспаленными умами

царя и царского врага,

над мешаниной свистов, матов,

церквей, борделей, казематов

кликушей корчилась пурга.

Пургу лохматили копыта.

Все было снегом шито-крыто.

Над белой зыбью мостовых

луна издерганно, испито,

как блюдце в пальцах у спирита,

дрожала в струях снеговых.

Какой-то ревностный служака,

солдат гоняя среди мрака,

учил их фрунту до утра,

учил «ура!» орать поротно,

решив, что сущность патриота -

преподавание «ура!».

Булгарин в дом спешил с морозцу

и сразу - к новому доносцу

на частных лиц и на печать.

Живописал не без полета,

решив, что сущность патриота -

как заяц лапами стучать.

Корпели цензоры-бедняги.

По вольномыслящей бумаге,

потея, ползали носы,

Носы выискивали что-то,

решив, что сущность патриота -

искать, как в шерсти ищут псы.

Но где-то вновь под пунш и свечи

вовсю крамольничали речи,

предвестьем вольности дразня.

Вбегал, в снегу и строчках, Пушкин...

В глазах друзей и в чашах с пуншем

плясали чертики огня,

И Пушкин, воздевая руку,

а в ней - трепещущую муку,

как дрожь невидимой трубы,

в незабываемом наитье

читал: "...мужайтесь и внемлите,

восстаньте, падшие рабы!»

Они еще мальчишки были,

из чубуков дымы клубили,

в мазурках вихрились легко.

Так жить бы им - сквозь поцелуи,

сквозь переплеעь бренчащей сбруи,

и струи снега, и «Клико»!

Но шпор заманчивые звоны

не заглушали чьи-то стоны

в их опозоренной стране.

И гневно мальчики мужали,

и по-мужски глаза сужали,

и шпагу шарили во сне.

А их в измене обвиняла

и смрадной грязью обливала

тупая свора стукачей.

О, всех булгариных наивность!

Не в этих мальчиках таилась

измена родине своей.

В сенате сыто и надменно

сидела подлая измена,

произнося за речью речь,

ублюдков милостью дарила,

крестьян ласкающе давила,

чтобы потуже их запречь.

Измена тискала указы,

боялась правды, как проказы.

Боялась тех, кто нищ и сир.

Боялась тех, кто просто юны.

Страшась, прикручивала струны

у всех опасно громких лир.

О, только те благословенны,

кто, как изменники измены,

не поворачивая вспять,

идут на доски эшафота,

поняв, что сущность патриота -

во имя вольности восстать!

ПЕТРАШЕВЦЫ

Барабаны,

          барабаны...

Петрашевцев казнят!

Балахоны,

          балахоны,

словно саваны,

               до пят.

Холод адский,

              строй солдатский,

и ОНИ -

        плечом к плечу.

Пахнет площадью Сенатской

на Семеновском плацу.

Тот же снег

            пластом слепящим,

и пурги все той же свист.

В каждом русском настоящем

где-то спрятан декабрист.

Барабаны,

          барабаны...

Нечет-чет,

           нечет-чет...

Еще будут баррикады,

а пока что

           эшафот.

А пока что -

             всполошенно,

мглою

      свет Руси казня,

капюшоны,

          капюшоны

надвигают на глаза.

Но один,

         пургой обвитый,

молчалив и отрешен,

тайно всю Россию видит

сквозь бессильный капюшон.

В ней, разодран,

                 перекошен,

среди призраков,

                 огней,

плача,

       буйствует Рогожин.

Мышкин мечется по ней.

Среди банков и лабазов,

среди тюрем и сирот

в ней Алеша Карамазов

тихим иноком бредет.

Палачи, -

          неукоснимо

не дает понять вам страх,

что у вас -

            не у казнимых -

капюшоны на глазах.

Вы не видите России,

ее голи,

         босоты,

ее боли,

         ее силы,

ее воли,

         красоты...

Кони в мыле,

             кони в мыле!

Скачет царский указ!

Казнь короткую сменили

на пожизненную казнь...

Но лишь кто-то

               жалко-жалко

в унизительном пылу,

балахон срывая жадно,

прокричал царю хвалу.

Торопился обалдело,

рвал крючки и петли он,

но, навек приросший к телу,

не снимался балахон.

Барабаны,

          барабаны...

Тем, чья воля не тверда,

быть рабами,

             быть рабами,

быть рабами навсегда!

Барабаны,

          барабаны...

и чины высокие...

Ах, какие балаганы

на Руси

        веселые!

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

И когда, с возка сошедший,

над тобою встал, толпа,

честь России - Чернышевский

у позорного столба,

ты подавленно глядела,

а ему была видна,

как огромное «Что делать?»,

с эшафота вся страна.

И когда ломали шпагу,

то в бездейственном стыде

ты молчала, будто паклю

в рот засунули тебе.

И когда солдат, потупясь,

неумелый, молодой,

«Государственный преступник»

прикрепил к груди худой,

что же ты, смиряя ропот,

не смогла доску сорвать?

Преступленьем стало - против

преступлений восставать.

Но светло и обреченно

из толпы наискосок

чья-то хрупкая ручонка

ему бросила цветок.

Он увидел чьи-то косы

и ручонку различил

с золотым пушком на коже,

в блеклых пятнышках чернил.

После худенькие плечи,

бедный ситцевый наряд

и глаза, в которых свечи

декабристские горят.

И с отцовской тайной болью

он подумал: будет срок,

и неловко бросит бомбу

та, что бросила цветок.

И, тревожен и задумчив,

видел он в тот самый день

тени Фигнер и Засулич

и халтуринскую тень.

Он предвидел перед строем,

глядя в сумрачную высь:

бомба мир не перестроит,

только мысль - и только мысль!

Встанет кто-то, яснолобый, -

он уже невдалеке! -

с мыслью - самой страшной бомбой

в гневно поднятой руке!

ЯРМАРКА В СИМБИРСКЕ

Ярмарка!

         В Симбирске ярмарка!

Почище Гамбурга!

                 Держи карман!

Шарманки шамкают,

                  а шали шаркают,

и глотки гаркают:

                   «К нам,

                            к нам!»

В руках приказчиков

                    под сказки-присказки

воздушны соболи,

                 парча тяжка,

а глаз у пристава

                  косится пристально

и на «селедочке» [1]-

                    перчаточка.

Но та перчаточка

                 в момент с улыбочкой

взлетает рыбочкой

                  под козырек,

когда в пролеточке

                   с какой-то цыпочкой,

икая,

      катит

            икорный бог.

И богу нравится,

               как расступаются

платки,

        треухи

               и картузы,

и, намалеваны

              икрою паюсной,

под носом дамочки

                  блестят усы.

А зазывалы

           рокочут басом.

Торгуют юфтью,

              шевром,

                      атласом,

прокисшим квасом,

                  пречистым Спасом,

протухшим мясом

                и Салиасом [2].

И, продав свою картошку

да хвативши первача,

баба ходит под гармошку,

еле ноги волоча

И поет она,

            предерзостная,

все захмелевбя,

шаль за кончики придерживая,

будто молодая:

«Я была у Оки,

ела я-бо-ло-ки,

с виду золоченые -

в слезыньках моченые.

Я почапала на Каму.

Я в котле сварила кашу.

Каша с Камою горька.

Кама - слезная река.

Я поехала на Яик,

села с миленьким на ялик.

По верхам да по низам -

все мы плыли по слезам.

Я пошла на тихий Дон.

Я купила себе дом.

Чем для бабы не уют?

А сквозь крышу слезы льют...»

Баба крутит головой,

все в глазах качается.

Хочет быть молодой,

а не получается.

И гармошка то зальется,

то вопьется,

             как репей...

Пей, Россия,

             ежли пьется,

только душу не пропей!..

Ярмарка!

         В Симбирке ярмарка!

Гуляй,

       кому гуляется!

А баба пьяная

в грязи валяется.

В тумане плавая,

царь похваляется...

А баба пьяная

в грязи валяется.

Корпя над планами,

министры маются...

А баба пьяная

в грязи валяется.

Кому-то памятник

подготовляется...

А баба пьяная

в грязи валяется.

И мещаночки,

             ресницы приспустив,

мимо,

      мимо:

            «Просто ужас!

                          Просто стыд!»

И лабазник стороною,

мимо,

      а из бороды:

«Вот лежит...

              А кто виною?

Все студенты

             да жиды...»

И философ-горемыка

ниже шляпу на лоб

и, страдая гордо, -

                   мимо:

«Грязь -

         твоя судьба, народ!»

Значит, жизнь такая подлая -

лежи

     и в грязь встывай?!

Но кто-то бабу под локоть

и тихо ей:

           «Вставай...»

Ярмарка!

         В Симбирске ярмарка!

Качели в сини,

               и визг,

                       и свист,

и, как гусыни,

              купчихи яростно:

«Мальчишка с бабою...

                      Гимназист!»

Он ее бережно ведет за локоть,

он и не думает, что на виду.

«Храни Христос тебя,

                      яснолобый,

а я уж как-нибудь сама дойду...»

И он уходит,

             идет вдоль барок

над вешней Волгой,

и, вслед грустя,

                 его тихонечко крестит баба,

как бы крестила свое дитя.

Он долго бродит...

                  Вокруг все пасмурней...

Охранка - белкою в колесе.

Но как ей вынюхать,

                    кто опаснейший,

когда опасны в России все!

Охранка, бедная,

                 послушай, милая:

всегда опасней, пожалуй, тот,

кто остановится,

                 кто просто мимо

чужой растоптанности

                     не пройдет.

А Волга мечется,

                 хрипя,

                        постанывая.

Березки светятся

                 над ней во мгле,

как свечки робкие,

                   землей поставленные,

за настрадавшихся на земле.

Ярмарка!

         В России ярмарка!

Торгуют совестью,

                  стыдом,

                          людьми,

суют стекляшки, как будто яхонты,

и зазывают

           на все лады.

Тебя, Россия,

             вконец растрачивали

и околпачивали в кабаках,

но те, кто врали и одурачивали,

еще останутся в дураках!

Тебя, Россия,

              вконец опутывали,

но не для рабства ты родилась.

Россию Разина,

               Россию Пушкина,

Россию Герцена

               не втопчут в грязь!

Нет,

     ты, Россия,

                 не баба пьяная!

Тебе великая дана судьба,

и если даже ты стонешь,

                        падая,

то поднимаешь сама себя!

Ярмарка!

         В России ярмарка!

В России рай,

              а слез - по край,

но будет мальчик -

                   он снова явится -

и скажет праведное:

                    «Вставай...»

          Б р а т с к а я   Г Э С

о б р а щ а е т с я   к   п и р а м и д е:

Пирамида,

          снова и снова

утверждаю с пеной у рта:

революций первооснова

есть не злоба,

               а доброта.

Если слезы сквозь крыши льются,

строй лишь внешне несокрушим,

и заваривается

              революция,

и заваливается

               режим.

Вот я вижу:

            летят воззвания,

уголь - мастеру-гаду в рот,

и во мне - не воды взвывания,

а неистовых стачек рев.

И Россия идет к избавленью,

кровью тысяч землю багря,

сквозь централы, расстрел на Лене,

сквозь Девятое января.

И в боях девятьсот пятого,

и в маевках, флагами машущих, -

всюду брезжит светло,

незапятнанно

яснолобость симбирского мальчика.

Кто-то ночью,

              петляя, смывается,

кто-то прячет шрифты под полой,

и, как лава, из глоток в семнадцатом

сокрушающее:

             «Долой!»

Но вновь,

          оттирая правду назад,

неправда к власти протискивается.

И вот,

       пирамида,

                 взгляни:

                          Петроград.

Временное правительство.

\* \* \*

Под вихрь витийственных словечек,

о славе грезя мировой,

скакнул в премьеры человечек

с вертлявой полой головой.

Он восклицал о прошлом горько.

Он лясы лисанькой точил,

а потихоньку-полегоньку

все то же прошлое тащил.

«Народ! Народ!» -

                  кричал под марши,

но лучше уж бесстыдный гнет,

чем угнетать народ, как раньше,

крича:

       «Да здравствует народ!»

Следили Зимнего колонны

ловчилу в шулерском дыму

с крапленной мастерски колодой

министров, надобных ему.

Он передергивал шикарно,

но пальцы чувствовали крах.

Так шла игра. Менялись карты,

но оставался тот же крап.

А в Зимнем все еще банкеты.

Бокалы узкие звенят,

и дарят девочки букеты,

как это дамы им велят.

И в залах звон, как будто бал там,

и подхорунжий с алым бантом

при николаевских усах

стоит у двери на часах.

И вот, подняв бокал с шампанским,

встает премьер с лицом шаманским,

с просветом в хилых волосах.

Здесь революцией клянутся,

за революцию здесь пьют,

а сами ссорятся, клюются

и все на свете продают.

У них интриги и раздоры,

хоть о единстве и галдят,

и Ярославли и Ростовы

на них презрительно глядят.

Их презирают и солдаты,

и те, кто сеют и куют,

и человеки, что салаты

им, изгибаясь, подают.

С усмешкой сумрачной и странной,

сосредоточен, хитроват,

на их машины под охраной

глядит рабочий Петроград.

Он видит, видит их бессилье.

Еще немного - и пора...

Игра в правительство России -

всегда опасная игра.

\* \* \*

Глядит пирамида,

                 как тяжко, огромно,

сопя,

      разворачивается «Аврора»,

как прут на Зимний орущие тысячи...

Глядит пирамида

                все так же скептически:

«Я вижу:

         мерцают в струенье дождя

штыки - с холодной непримиримостью,

но справедливость, к власти придя,

становится несправедливостью.

Людей существо - оно таково...

Кто-то из древних молвил:

чтобы понять человека,

                       его

надо представить мертвым.

Тут возразить нельзя ничего.

Согласна, но лишь отчасти.

Чтобы понять человека,

                       его

надо представить у власти».

Но Братская ГЭС

                в свечении брызг

грохочет потоком вспененным:

«А ты в историю снова всмотрись.

Тебе я отвечу Лениным!»

ИДУТ ХОДОКИ К ЛЕНИНУ

Проселками

          и селеньями

с горестями,

            боленьями

идут

     ходоки

           к Ленину,

идут ходоки к Ленину.

Метели вокруг свищут.

Голодные волки рыщут.

Но правду крестьяне ищут,

столетьями

            правду ищут.

Столькие их поколения,

емелек и стенек видевшие,

шли,

     как они,

              к Ленину,

но не дошли,

             не выдюжили.

Идут ходоки,

             зальделые,

все, что наказано, шепчут.

Шаг

    за себя делают.

Шаг -

      за всех недошедших.

А где-то в Москве

                  Ленин,

пришедший с разинской Волги,

на телеграфной ленте

их видит

          сквозь все сводки.

Он видит:

          лица опухли.

Он слышит хрипучий кашель.

Он знает:

          просят обувки

несуществующей каши.

Воет метель,

             завывает.

Мороз ходоков

              корежит,

и Ленин

        себя забывает -

о них

      он забыть

                не может.

Он знает,

          что все идеи -

только пустые «измы»,

если забыты на деле

русские слезные избы.

...Кони по ленте скачут.

Дети и женщины плачут.

Хлеб

     кулаки

            прячут.

Тиф и холера маячат.

И, ветром ревущим

                   накрениваемые,

по снегу,

          строги и суровы,

идут ходоки

            к Ленину,

похожие на сугробы.

Идут

     ходоки

             полями,

идут

     ходоки

            лесами,

Ленин -

        он и Ульянов,

и Ленин -

          они сами.

И сквозь огни,

                 созвездья,

выстрелы,

          крики,

                 моленья,

невидимый,

            с ними вместе

идет к Ленину

              Ленин...

А ночью ему не спится

под штопаным одеялом.

Метель ворожит:

                «Не сбыться

великим твоим идеалам!»

Как заговор,

             вьется поземка.

В небе

       за облака

месяц,

       как беспризорник,

прячется

        от ЧК.

«Не сбыться! -

              скрежещет разруха. -

Я все проглочу бесследно!»

«Не сбыться! -

              как старая шлюха,

неправда гнусит. -

                  Я бессмертна!»

«В грязь!» -

              оскалился голод.

«В грязь!» -

              визжат спекулянты.

«В грязь!» -

              деникинцев гогот.

«В грязь!» -

              шепоток Антанты.

Липкие,

        подлые,

                 хитрые,

всякая разная мразь

ржут,

      верещат,

                хихикают:

«В грязь!

          В грязь!

                   В грязь!»

Метель панихиду выводит,

но вновь - над матерью-Волгой

идет он

        просто Володей

и дышит простором,

                  волей.

С болью невыразимой

волны взметаются,

                брызжут.

В них,

       как в душе России,

Стенькины струги брезжут.

Волга дышит смолисто,

Волга ему протяжно:

«Что,

      гимназист из Симбирска,

тяжко быть Лениным,

                    тяжко?!»

Не спится ему,

               не спится.

но сквозь разруху, метели

он видит живые лица,

словно лицо идеи.

И за советом к селеньям,

к горестям

          и боленьям

идет

     ходоком

            Ленин,

идет

     ходоком

             Ленин...

\* \* \*

«Да, благороден,

                 да, озарен, -

в ответ пирамида устало, -

но зря на людей надеется он.

Я,

   например,

             перестала.

Жалко мне Ленина:

                  идеалист.

Цинизм

       уютней.

               Цинизм

                      не обманывает...»

А Братская ГЭС:

                «Ты вокруг оглядись:

нет,

     он обманывает,

                    он обламывает.

Я

   не за сладенько робких маниловых

в их благодушной детскости.

Я

   за воинственных,

                     а не молитвенных

идеалистов действия!

За тех,

        кто мир переделывать взялся,

за тех,

        кто из лжи и невежества

все человечество

                 за волосы

тащит,

       пусть даже невежливо.

Оно упирается,

              оно недовольно,

не понимая сразу того,

что иногда ему делают больно

только затем,

              чтоб спасти его...»

Но пирамида остроугольно

смотрит:

         «Ну что же, нас время рассудит.

Что, если только и будет больно,

ну, а спасенья не будет?

И в чем спасенье?

                  Кому это нужно -

свобода,

         равенство,

                    братство всемирное?

Прости,

        повторяюсь я несколько нудно,

но люди -

          рабы.

                Это азбучно, милая...»

Но Братская ГЭС восстает против рабского.

Волны ее гудят, не сдаются:

«Я знаю и помню

                 другую азбуку -

азбуку революции!»

АЗБУКА РЕВОЛЮЦИИ

Гремит

       «Авроры» эхо,

пророчествуя нациям.

Учительница Элькина

на фронте

           в девятнадцатом.

Ах, ей бы Блока,

               Брюсова,

а у нее винтовка.

Ах, ей бы косы русые,

да целиться неловко.

Вот отошли кадеты.

Свободный час имеется,

и на траве, как дети,

сидят красноармейцы.

Голодные, заросшие,

больные да израненные,

такие все хорошие,

такие все неграмотные.

Учительница Элькина

раскрывает азбуку.

Повторяет медленно,

повторяет ласково.

Слог

      выводит

              каждый,

ну, а хлопцам странно:

«Маша

      ела

          кашу.

Маша

     мыла

          раму».

Напрягают разумы

с усильями напрасными

эти Стеньки Разины

со звездочками красными.

Учительница, кашляя,

вновь долбит упрямо:

«Маша

      ела

          кашу.

Маша

     мыла

          раму».

Но, словно маясь грыжей

от этой кутерьмы,

винтовкой стукнул

                   рыжий

из-под Костромы:

«Чего ты нас мучишь?

Чему ты нас учишь?

Какая Маша!

Что за каша!»

Учительница Элькина

после этой речи

чуть не плачет...

                 Меленько

вздрагивают плечи.

А рыжий

        огорчительно,

как сестренке,

               с жалостью:

«Товарищ учителка,

зря ты обижаешься!

Выдай нам,

           глазастая,

такое изречение,

чтоб схватило зб сердце, -

и пойдет учение...»

Трудно это выполнить,

но, каноны сламывая,

из нее

       выплыло

самое-самое,

как зов борьбы,

врезаясь в умы:

«Мы не рабы...

Рабы не мы...»

И повторяли,

            впитывая

в себя до конца,

и тот,

       из Питера,

и тот,

       из Ельца,

и тот,

       из Барабы,

и тот,

       из Костромы:

«Мы не рабы...

Рабы не мы...»

...Какое утро чистое!

Как дышит степь цветами!

Ты что ползешь,

               учительница,

с напрасными бинтами?

Ах, как ромашкам бредится -

понять бы их,

              понять!

Ах, как березкам брезжится -

обнять бы их,

             обнять!

Ах, как ручьям клокочется -

припасть бы к ним,

                   припасть!

Ах, до чего не хочется,

не хочется

            пропасть!

Но ржут гнедые,

                чалые...

Взмывают стрепета,

задев крылом

             печальные,

пустые стремена.

Вокруг ребята ранние

порубаны,

         постреляны...

А ты все ищешь раненых,

учительница Элькина?

Лежат,

       убитые,

среди

      чебреца

и тот,

       из Питера,

и тот,

       из Ельца,

и тот,

       из Барабы...

А тот, из Костромы,

еще живой как будто,

и лишь глаза странны.

«Подстрелили чистенько,

я уже готов.

Ты не трать, учителка,

на меня бинтов».

И, глаза закрывший,

почти уже не бывший,

что-то вспомнил рыжий,

улыбнулся рыжий.

И выдохнул

           мучительно,

уже из смертной мглы:

«Мы не рабы,

             учителка,

Рабы не мы...»

БЕТОН СОЦИАЛИЗМА

«Бабья кровь от века рабья...» -

говорил снохач Зыбнов,

желтым ногтем выкорябывая

мясо из зубов.

И в избе хозяйской сохла,

как полынный стебелек,

без отца и мамы Сонька,

чуть повыше, чем сапог.

Забивалась она в угол

и слыхала ржавый смех:

«Ну, теперь ваш Ленин умер, -

и Коммуне тоже смерть!»

Зыбко плавали лампады.

Крысы шастали в сенях,

и казацкие лампасы

кровенели на штанах.

И ждала расправы скорой,

где-то сунута в муку,

та нагайка, свист которой

помнят Питер и Баку.

Год за годом шли. Сменялись

лед, вода, вода и лед.

Соньке стукнуло семнадцать

под гуденье непогод.

Засугробили метели

приуральские края,

но в крови батрацкой пели

пугачевские кровя.

И, платком лицо закутав,

вся в снегу, белым-бела,

Сонька вышла в ночь за хутор

и пошла она, пошла.

В той степи, насквозь продутой,

что без края и конца,

атаман казацкий Дутов

расстрелял ее отца.

И к горе, горе Магнитной,

хоть идти невмоготу,

Сонька шла с одной молитвой:

разыскать могилу ту.

Но у самой у Магнитки

Сонька встала, замерла:

ни могилы, ни могилки,

а народу без числа.

Прут машины озверенно,

тачек стук и звяк лопат,

и замерзлые знамена

красным льдом своим гремят.

И хотя земля чугунна,

тыщи Сонек землю бьют,

тыщи Сонек про Коммуну

песню звонкую поют.

А на всех, кто роет, строит,

чистым отсветом легло

чье-то доброе, простое,

неиконное лицо.

И с прищуром зорким-зорким,

что-то думая свое,

он глядел, Ильич, на Соньку,

ждал чего-то от нее.

И взяла она лопату,

еще теплую от рук,

обернулась угловато

и увидела подруг.

И щербатая Тамарка

ей сказала прямо в лоб:

«Выше голову, товарка,

ты же - красный землекоп!»

Сонька ткнула грунт несмело,

но за свой батрацкий срок

что-ничто - копать умела:

черенок есть черенок.

И на Сонькину лопату

засмотрелся, покорен,

первый здешний экскаватор

иностранец «Марион».

И с лопаты дни летели,

будто взрытая земля,

в духотищу и в метели,

осыпаясь и звеня.

Комсомольская шамовка

из селедочных голов,

но - «В Коммуне остановка!»

и - копай без лишних слов!

Ватник латан-перелатан

и лоснится, как супонь,

но не лапан-перелапан -

ты попробуй Соньку тронь!

Не смущало в той эпохе

Соньку, гордую собой,

то, что драные опорки

на ногах ее зимой.

И носила летом гордо

две галоши прехудых

фирмы «Красный треугольник»,

их бечевкой прихватив.

Лишь во сне ее укромном

плыли где-то там, вдали,

сапоги, сверкая хромом,

будто чудо-корабли.

Комсомола член и МОПРа...

Почему же у нее

под глазами часто мокро?

Немарксистское нытье!..

Петька, чертовый бетонщик

в разбуденовке своей,

ты с товарищем потоньше...

Удели вниманье ей!

Ну, а Петька смотрит шало:

«Мне бетон бы только дать!

Снова скурвилась мешалка -

подкулачница, видать...»

...С окон сыплется замазка

на коттеджах инспецов.

Под горой Магнитной пляска,

да такая, что Аляска

где-то вскинула от хряска

к небу мордочки песцов.

Пляшут парни на бетоне,

пляшут пять чубов хмельных.

Пляшут парни наподобье

виноделов чумовых.

Пляшут звездные, лихие

разбуденовки парней -

пляску детства индустрии,

пляску юности своей.

Ничего, что эта пляска

тяжела, тяжела,

ничего, что тряско, вязко -

лишь Коммуна бы жила!

Ноги стонут, ноги тонут,

но гремит, бросая в дрожь,

над трясиною бетона

перекопское: «Даешь!»

А при бусах и сережках,

позабыв про Перекоп,

ходит в хромовых сапожках

Сонька - красный землекоп.

Сонька год почти копила

свои кровные рубли -

и, неясно где, купила

эти чудо-корабли.

Только зря ты, Сонька, ходишь,

замышляя воровство.

Зря украсть у пляски хочешь,

Сонька, Петьку своего.

Ну-ка, Сонька, не фасонь-ка!

Не боись! Иди сюда!

На твоих ресницах, Сонька,

буржуазная вода.

Петька твой ногами пашет,

пляшет носом и вихром,

он рукою тебе машет -

позабудь про этот хром!

И, веселая, живая,

так чертовски молода,

светит, Соньку зазывая,

с разбуденовки звезда.

Еще малость плачет Сонька,

но звездою тянет он,

и уже мыском тихонько

Сонька трогает бетон.

Соньку чуть вперед шатнуло,

Сонькин дух, как видно, слаб.

Сапоги едва шагнули,

и бетон их сразу - цап!

Сонька руку выгибает,

а в глазах - круги, круги...

Пляшет Сонька... Погибают,

погибают сапоги!

И летит, чистейше брызнув,

с щек горящих - не беда! -

на бетон социализма

буржуазная вода.

Сапоги вконец разбиты.

Долго ждать еще обнов...

Что ты зыркаешь небрито,

сиз от зависти, Зыбнов?

Что гундосишь ты, плешивый,

взгляд кося через плечо:

«Попляшите, попляшите, -

вы допляшетесь еще!»?

Уходи, нам свет не засти,

оставайся при своем.

Мы допляшемся до счастья -

пусть все ноги в кровь собьем!

Сонька пляшет в исступленье,

будто знает наперед:

не умрет вовеки Ленин

и Коммуна не умрет.

КОММУНАРЫ НЕ БУДУТ РАБАМИ

Просыпавшийся мир

                  шелестел, свиристел,

когда утром росистой тропою

нас к обрыву

             бандиты вели на расстрел

под Херсоном,

              в Поволжье, в Триполье.

Но мы пели и пели,

                   голов не клоня,

на груди разрывая рубахи:

«Никогда,

           никогда,

                    никогда,

                             никогда

коммунары не будут рабами!»

Нас безжалостный голод

                       глодал и душил,

нас шатали

            тифозные ветры,

но не падали мы -

                  из костей да из жил,

да еще -

         из отчаянной веры.

А вокруг нищета,

                 босота,

                          нагота,

но мы строили,

               уголь рубали.

На поклон мы не шли...

                       Никогда,

                                никогда

коммунары не будут рабами!

Поднималась Шатура,

                     Магнитка,

                               Кузбасс,

и буржуи затылки чесали...

Так за что же доносы писали на нас,

в лагеря

          и в тюрьмы бросали?!

Но в тебе, Колыма,

                    и в тебе, Воркута,

мы хрипели,

            смиряя рыданья:

«Даже здесь -

              никогда,

                       никогда,

                                никогда

коммунары не будут рабами!»

И во имя России

                 и дальних Гренад

против танков с крупповской маркой

шли в тельняшках

                   с последнею связкой гранат,

затянувшись последней цигаркой.

Пусть над многими нет ни звезды,

                                 ни креста, -

но полынью,

             бурьяном,

                       хлебами

повторяют они:

               «Никогда,

                          никогда

коммунары не будут рабами!»

\* \* \*

Так ревела над вечностью

                         Братская ГЭС,

с воем

      волны бросая на приступ,

и, задумавшись,

                в небе светавшем исчез

пирамиды египетской призрак.

ПРИЗРАКИ В ТАЙГЕ

То не клюквой хрустят

                      мишки-лакомки,

не бобры свистят,

                  встав на лапочки,

не сычи кричат, будто при смерти, -

возле Братской ГЭС

                   бродят призраки.

Что угрюм, воевода острожный?

Али мало ты высек людей?

Али мало с твоею-то рожей

перепортил тунгусок,

                     злодей?!

Здесь, на ГЭС, увидав инородца,

ты не можешь все это постичь.

Твое хапало

            к плетке рвется,

да истлела она,

                старый хрыч!

Эй, купцы,

          вы чего разошлись?

Что стучите костями от злости?

Ну зачем вы жирели всю жизнь?

Все равно

          в результате - кости...

Господин жандарм,

                  господин жандарм,

как вам хочется

                кузькину мать

показать вольнодумцам

                      и прочим жидам,

да трудненько теперь показать!

Протопоп Аввакум, ты устал от желез.

Холодна власяница туманов.

Ты о чем размышляешь у Братской ГЭС

среди тихих,

              как дети,

                        шаманов?

Эй, старатель с киркой одержимой,

с деревянным замшелым лотком,

мы нашли самородную жилу

или просто долбим на пустом?

О, петербургские предтечи,

в перстах подъемля те же свечи,

ответьте правнукам своим -

из вашей искры возгорелось

такое пламя, как хотелось

его увидеть вам самим?

«Динь-бом... Динь-бом...» -

                          слышен звон кандальный.

«Динь-бом... Динь-бом...»

                     Путь сибирский дальний.

«Динь-бом... Динь-бом...» -

                            слышно там и тут.

Нашего товарища на каторгу ведут.

Вы ответьте, кандалы,

                       так ли мы живем,

с правдой или же с неправдой

                            черный хлеб жуем?

Вы ответьте из ночи,

партизаны, избачи:

гибли вы за нас,

                  таких,

или -

      за других?!

Слышу,

       в черном кедраче

кто-то рядом дышит.

Слышу руку на плече...

Вздрогнул я:

               Радищев!

«Давным-давно на месте Братской ГЭС

я проплывал на утлой оморочке

с оскоминой от стражи и морошки,

но с верою в светильниках очес.

Когда во мрак все погрузил заход,

я размышлял в преддверии восхода

о скрытой силе нашего народа,

подобной скрытой силе этих вод.

Но, озирая дремлющую ширь,

не мыслил я,

              чтоб вы преобразили

тюрьмой России бывшую Сибирь

в источник света будущей России.

Торжественно свидетельствуют мне

о вашей силе многие деянья,

но пусть лелеет сила в глубине

обязанность святую состраданья.

А состраданье высшее - борьба...

Я мог слагать в изящном штиле песни

про серафимов, про ланиты, перси

и превратиться в сытого раба.

Но чьи-то слезы,

                  чьих-то кляч мослы

мне истерзали душу, словно пытка,

когда моя усталая кибитка

тряслась от Петербурга до Москвы.

Желая видеть родину другой,

без всякой злобы я писал с натуры,

но, корчась,

             тело истины нагой

хрустело в лапах ласковых цензуры.

Понять не позволяла узость лбов,

что брезжила сквозь мглистые страницы,

чиста,

        как отсвет будущей денницы,

измученная к родине любовь.

И запретили...

                 Царственно кратка,

любя свободу, но без постоянства,

на книге августейшая рука

запечатлела твердо: «Пашквилянтство».

Но чувствовал я в этой книге силу

и знал:

         ей суждена себя спасти,

прорваться, продолбиться, прорасти...

Я с чистою душой поехал в ссылку

и написал, как помнится, в пути:

«Я тот же, что и был,

                       и буду весь мой век -

не скот, не дерево, не раб,

                            но человек».

Исчез Радищев...

                 Глядя ему вслед,

у Братской ГЭС

               всепоглощенно,

                               тайно

о многом думал я,

                   и не случайно

припомнил я,

              как написал поэт:

«Авроры» залп.

                 Встают с дрекольем села...

Но это началось

                  в минуту ту,

когда Радищев

               рукавом камзола

отер слезу,

             увидев сироту...» [3]

И думал я, оцепенело тих:

достойны ли мы призраков таких?

Какие мы?

          И каждый ли из нас

сумеет повторить в свой трудный час:

«Я тот же, что и был,

                        и буду весь мой век -

не скот,

          не дерево,

                      не раб,

                                но человек...»?

ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

Ах, уральской марки сталь,

рельсы-серебриночки!

Магистраль ты, магистраль,

транссибирочка!

Ты о чем, скажи, грустишь

в стуках-проблесках?

Не от слез ли ты блестишь,

в щелки пролитых?

Помнишь, как глаза глядели

в окна

        отрешенно,

как по насыпи летели

тени

     от решеток,

и сквозь прутья,

                 будто голуби,

продирались

             и - в полет

чьих-то писем треугольники

(может, кто-то подберет...).

И над соснами, рябинами

кружилось наугад:

«Ты не верь,

              моя любимая...

Мама, я не виноват».

Было много разной лжи,

много страшного,

но не надо, не тужи,

магистральюшка!

Ветер бьет наперерез,

ну, а мелом -

              наискось:

«Едет Братская ГЭС!» -

на вагоне надпись.

Говорят глаза с глазами

и с тайгой невиданною:

«Мы себя «сослали» сами

в ссылку удивительную!

Стань,

        Сибирь,

                 светлым-светла,

радуйся

         и радуй!

Наказаньем ты была,

сделайся

         наградой!»

Сочинили хор-оркестр

москвичи с москвичками.

Едет Братская ГЭС

с рыжими косичками!

«Я на Сретенке жила -

расстаемся с нею.

Газировку я пила -

Ангара вкуснее.

В рюкзаке моем побились

мамины бараночки...

Мама новая, тайга,

принимай в братчаночки!»

(И не знаешь ты, девчонка,

что в жестокий первый год

твоя модная юбчонка

на портянки вся пойдет;

что в палатке-невеличке,

как рванет за сорок пять,

станут рыжие косички

к раскладушке примерзать.

Будут ноженьки в болячках.

Будет в дверь скрестись медведь,

и о маминых баранках

тайно будешь ты реветь.

Маникюр забудут руки.

Но ты выстоишь, как все,

в рукавицах и треухе,

в телогрейке и кирзе.

И в краю глухом, острожном,

как тобою решено,

себе Сретенку построишь,

танцплощадку и кино.

Пусть в Москве себя не тешат:

маникюр ты наведешь,

платье-колокол наденешь,

в туфлях узеньких пройдешь.

И ты будешь в платье этом

так сиять, сводя с ума,

словно лампочка со светом,

тем, что ты зажгла сама!)

Сосны синие окрест

с алыми верхами...

едет Братская ГЭС с шалыми вихрами!

Пой,

      Алешка Марчук,

на глаза татаристый!

В разговоре ты -

                   молчун,

ну, а в песне -

               яростный.

Пусть гитара семиструнная

играет до утра,

словно это

             семиструйная

играет Ангара!

(И разве знаешь ты, Алешка,

с шнурком ковбойским на груди,

что жизнь твоя - еще обложка,

а книга будет впереди;

и что тебе с твоим дипломом

в тайге придется - будь здоров! -

пилою вкалывать и ломом,

зубря английский у костров;

что с видом вовсе не геройским,

чумазый, словно сатана,

прихватишь ты шнурком ковбойским

в грязи подошву сапога...

А после с красною повязкой

кидаться будешь ты в ночи

туда, где с вкрадчивой повадкой

по фене ботают ножи.

И только утром, на рассвете,

с усмешкой вспомнив левый хук,

ты сможешь взяться за рейсфедер,

и будет падать он из рук.

Но встанет ГЭС, и свет ударит,

и песня странствовать пойдет:

«Марчук играет на гитаре,

а море Братское поет...»

И в дальнем городе Нью-Йорке,

где и студенты и печать,

ты будешь кратко и неловко

о Братской ГЭС им отвечать.

Среди вопросов -

                 и окольных

и злых, пронзающих насквозь, -

вдруг спросит кто-то,

                       словно школьник:

«С чего все это началось?»

Но нет, не первые палатки

ты вспомнишь, тайно озарен,

а те побитые баранки,

а тот поющий эшелон.

И, вспомнив это все недаром,

ты улыбнешься - так светло! -

и, взяв у битника гитару,

ответишь весело:

                   «С нее!»)

Эй, медведи,

               прячьтесь в лес

робко,

        как воробышки!

Едет Братская ГЭС

с гитарой на веревочке!

Пой,

      уральской марки сталь,

песню силы,

               храбрости!

Магистраль печали,

                      стань

магистралью радости!

Чтоб на рельсах -

                ни слезинки

от извечной слезности,

наши души,

            как светинки,

в свет великий сложатся!

В неизвестные края

пенно

        и широко

ты летишь,

            страна моя,

первоэшелонно.

Наши жизни -

             на кону.

Наши жизни

            лопаются.

Трудно нам,

             как никому,

первоэшелонцы!

Но и звезды

           и костры,

но и свет,

            и солнце

кто так чувствует,

                    как мы,

первоэшелонцы!

И ты знай,

            страна моя, -

если тяжело мне,

все равно я счастлив:

                         я -

в первом эшелоне!..

ЖАРКИ

«Куда идешь ты, бабушка?»

«Я к лагерю, сынки...»

«А что несешь ты, бабушка?»

«Жаркъ несу, жарки...»

В руках, неосторожные,

топорщатся, дразня,

жарки - цветы таежные,

как язычки огня.

И смотрит отгороженно,

печален и велик,

из-под платка в горошинах

рублевский темный лик.

И кожаные ичиги,

с землею говоря,

обходят голубичники,

чтобы не мять зазря.

Летают птицы, бабочки,

и солнышко горит,

и вдруг такое бабушка

тихонько говорит:

«Иду, бывало, с ведрами

и вижу в двух шагах

несчастных тех, ободранных,

в разбитых сапогах.

Худущие, простудные -

и описать нельзя!

И вовсе не преступные -

родимые глаза.

Ах, слава тебе, господи,

им волю дали всем,

и лагерь этот горестный

стоит пустой совсем.

А нынче непонятица:

в такую далину

аж целый поезд катится,

чтоб строить плотинэ.

И ладно ли, не ладно ли, -

приезжих тех ребят

в бараках старых лагерных

пока определят...

Мои старшъе внученьки

чуть зорька поднялись

и ведра-тряпки в рученьки -

и за полы взялись.

А внуки мои младшие,

те встали даже в ночь.

Ломают вышки мрачные

и проволоку прочь.

Ну, а в бараки попросту

с утра несет народ

кто скатерти, кто простыни,

кто шанежки, кто мед.

Приделывают ставенки,

кладут половики,

а я вот, дура старая,

жарки несу, жарки.

Пускай цветы таежные

стоят, красным-красны,

чтоб снились не тревожные,

не лагерные сны.

Уже мне еле ходится,

я, видно, отжила.

Вы стройте, что вам хочется,

лишь только б не для зла.

Моя избушка под воду

уйдет, ну и уйдет,

лишь только б люди подлые

не мучили народ...»

«Ну, что молчишь ты, бабушка?»

«Да так, сынки, нашло...»

«А что ты плачешь, бабушка?»

«Да так я, ничего...»

И крестит экскаваторы

и нас - на все века -

худая, узловатая

крестьянская рука...

НЮШКА

Я бетонщица, Буртова Нюшка.

Я по двести процентов даю.

Что ты пялишь глаза? Тебе нужно,

чтобы жизнь рассказала свою?

На рогожке пожухнувших пожней

в сорок первом году родилась

в глухоманной деревне таежной

по прозванью Великая Грязь.

С головою поникшей, повинной

мать лежала, пуста и светла,

и прикручена пуповиной

я к застылому телу была.

Ну, а бабы снопы побросали

и, склонясь надо мною, живой,

пуповину серпом обрезали,

перевязывали травой.

Грудь мне ткнула соседская Фроська.

Завернул меня дед Никодим

в лозунг выцветший «Все для фронта!»,

что над станом висел полевым.

И лежала со мной моя мамка

на высоком, до неба, возу.

Там ей было покойно и мягко,

а страданья остались внизу.

И осталось не узнанным ею,

что почти через месяц всего

пуля-дура под городом Ельня

угадала отца моего.

Председатель наш был не крестьянский,

он в деревню пришел от станка,

и рукав, пустовавший с гражданской,

был заложен в карман пиджака.

Он собранию похоронку

одинокой рукой показал:

«Как, народ, воспитаем девчонку?» -

и народ: «Воспитаем!» - сказал.

Я была в это горькое время

вроде трудного лишнего рта,

но никто меня в нашей деревне

никогда не назвал «сирота».

Затаив под суровостью ласку,

председатель совал, как отец,

то морковь, то тряпичную ляльку,

то с налипшей махрой леденец.

Меня бабы кормили картошкой,

как могли, одевали в свое,

и росла я деревниной дочкой

и, как мамку, любила ее.

Отгремела война, отстреляла,

солнце нашей победы взошло,

ну, а мамка-деревня страдала,

и понять не могла я, за что.

«План давайте!» - из центра долбили.

Телефон ошалел от звонков,

ну, а руки напрасно давили

на иссохшие сиськи коров.

И такие же руки в порезах,

в черноте неотмывной земли

мне вручили хрустящий портфельчик

и до школы меня довели.

Мы уселись неловко за парты,

не дышали, робки и тихи.

От учителки чем-то пахло -

я не знала, что это духи.

Городская, в очках и жакете,

прервала она тишину:

«Что такое Отчизна, дети?

Ну-ка, дети, подумайте, ну?..»

Мы молчали в постыдной заминке:

нас такому никто не учил.

«Знаю - Родина!» - Петька-заика

торжествующе вдруг подскочил.

«Ну, а Родина?» - в нетерпенье

карандашик стучал по столу.

Я подумала: «Наша деревня!» -

но от страха смолчала в углу.

Я училась, я ум напрягала,

я по карте указкой вела.

Я ледащих коней запрягала

и за повод вперед волокла.

Я молола, колола, полола,

к хлебопункту возила кули,

насыпала коровам полову,

а они ее есть не могли.

Я брала самоплетку-корзинку

да еще расписной туесок

и ходила в тайгу по бруснику,

по грибы и по дикий чеснок.

Из тайги - моего огорода -

к председателю шла поскорей,

потому что средь прочих голодных

он в деревне был всех голодней.

Ел он жадно, все сразу сметая,

и шутил он, скрывая тоску:

«Есть грибы, да вот нету сметанки...

Есть брусника, да нет сахарку...»

Брал он Ленина старое фото,

и часами смотрел и курил,

и как будто бы спрашивал что-то,

и о чем-то ему говорил.

А потом, просветленно очнувшись,

прижимал меня крепко к груди:

«Ничего, все изменится, Нюшка...

Погоди еще чуть, погоди...»

Меж деревней и телефоном,

разрываясь, метался он.

Хлеба требовали исступленно

и деревня и телефон.

Хряки с голоду выли, как волки,

ну, а в трубку горланили: «План!»

И однажды из дряхлой двустволки

он пустил себе в сердце жакан.

И лежал он, и каждый стыдился,

что его не сберег от курка,

а нахмуренный Ленин светился

на борту его пиджака.

Молчаливо глядели оба.

Было страшно и мне и другим,

что захлопнется крышка гроба

и за Лениным и за ним.

Я росла, семилетку кончала,

но на душных полатях во сне

я порою истошно кричала.

Что-то страшное виделось мне...

Будто все на земле оголенно -

ни людей, ни зверей, ни травы:

телефоны одни, телефоны

и гробы, и гробы, и гробы...

И в осеннюю скользкую пасмурь

из деревни Великая Грязь,

получив еле-еле свой паспорт,

в домработницы я подалась.

Мой хозяин - солидная шишка -

был не гад никакой, не злодей,

только чуяла я без ошибки:

он из тех телефонных людей.

Обходился со мною без мата,

правда, вместе за стол не сажал,

но на праздник Восьмого марта

мне торжественно руку пожал.

И, подвыпив, басил разморенно:

«Ну-ка, Нюшка, грибков подложи,

да и спой-ка... Я сам из народа...

Спой народную... Спой для души...»

Я с утра пылесосила шторы,

нафталинила польта, манто,

протирала рояль, на котором

не играл в этом доме никто.

В деревянных скользучих колодках

натирала мастикой паркет

и однажды нашла за комодом

запыленный известный портрет.

Я спросила, что делать с портретом, -

может, выбросить надлежит,

но хозяин, помедлив с ответом,

усмехнулся: «Пускай полежит...»

Он, газеты прочтенные скомкав,

становился угрюм и надут:

«Ну и ну!.. Чего доброго, скоро

до партмаксимума дойдут».

Расковыривал яростно студень,

воротясь из колхоза в ночи:

«Кулаком, понимаешь ли, стукнул,

а уже говорят, не стучи...»

И, заснуть неудачливо силясь,

он ворчал, не поймешь на кого:

«Демократия... Распустились!..

Жаль, что нету на них самого...»

Одобренье лицом выражая,

но, как должно, чуть-чуть суроват,

проверял он, очки водружая,

за него сочиненный доклад.

И звонил он: «Илюша, ты мастер...

В общем, надо сказать, удалось.

Юморку бы народного малость,

да и пару цитаток подбрось».

И подбрасывали цитаток,

и народного юморка,

и баранинки, и цыпляток,

и огурчиков, и омулька.

Уж кого он любил, я не знала,

только знала одно - не людей.

И шофер - необщительный малый -

его точно прозвал: «Прохиндей».

Я все руки себе простирала

и сбежала, сама не своя.

В судомойки вагон-ресторана

поступила по случаю я.

И я мыла фужеры и стопки,

соскребала ромштексы, мозги

от Москвы и до Владивостока,

а оттуда - опять до Москвы.

Крал главповар, буфетчицы крали,

а в окне проплывала страна,

проплывали заводы и краны,

трактора, самолеты, стога.

Сквозь окурки, объедки, очистки

я глядела, как будто во сне,

и значение слова «Отчизна»

открывалось, как Волга, в окне.

В той Отчизне, суровой, непраздной,

прохиндействовать было - что красть

у рабочих, у площади Красной,

у деревни Великая Грязь.

Было - с разными фразами лезли,

было - волю давали рукам,

ну, да это не страшное, если

в крайнем случае и по щекам.

И скисали похабные рожи,

притихали в момент за столом.

В основном-то народ был хороший.

Он хороший везде в основном.

Но меж теми, кто ели и пили

и в окне наблюдали огни,

пассажиры особые были -

чем-то тайным друг другу сродни.

Так никто не глядел на вокзалы

и на малости жизни живой

изнуренными глазами,

обведенными синевой.

Возвращались они долгожданно,

исхудалые, в седине,

с Колымы, Воркуты, Магадана,

наконец возвращались к стране.

Не забудешь, конечно, мгновенно

ни овчарок, ни номер ЗК,

но была в этих людях вера,

а не то чтобы, скажем, тоска.

И какое я право имела

веру в жизнь потерять, как впотьмах,

если люди, кайля онемело,

не теряли ее в лагерях!

А однажды в ковбойках и кедах

к нам ввалился народ молодой

и запел о туманах и кедрах

над могучей рекой Ангарой.

Танцевали колеса и рельсы.

Окна ветром таежным секло.

«А теперь за здоровье Уэллса!» -

кто-то поднял под хохот ситро.

И очкарик, ученый ужасно,

объяснил мне тогда, что Уэллс

был писатель такой буржуазный

и не верил он в Братскую ГЭС.

Я к столу подошла робковато

и спросила, идя напролом:

«А меня не возьмете, ребята?»

И ребята сказали: «Возьмем!»

И я встала, тайгу окликая,

вместе с нашей гурьбой озорной,

не могучая никакая

над могучей рекой Ангарой.

Потревоженно гуси кричали.

Где-то лоси трубили в ответ.

Мы счастливо стояли, братчане,

в нашем Братске, которого нет.

А имущество было у Нюшки -

пара стоптанных башмаков,

да облупленный нос, да веснушки,

да неполных семнадцать годков.

Впрочем, был чемоданчик фанерный

с незаманчивым всяким тряпьем,

и висел для сохранности верной

небольшенький замочек на нем.

Но в палатке у нас нетуманно

заявили, жуя геркулес,

что с замочками на чемоданах

не построить нам Братскую ÃÝÑ.

Виновато я сжалась в комочек,

и, на стройку идя поутру,

я швырнула тот чертов замочек

и замочек с души - в Ангару!

Стали личным имуществом сосны,

цифры мелом на грубых щитах

и улыбки, а слезы - так слезы

у товарок моих на щеках.

И когда я спала, мне светила

под урчанье машин и зверья

мною выстроенная плотина -

и не чья-нибудь - лично моя!

Словно льдинка, чуть брезжило солнце.

Был мой лом непомерно большим.

И свисали сосульками сопли

под зашмыганным носом моим.

Но себе говорила я: «Нюшка,

тянет лечь, ну, а ты не ложись.

Пусть из носа хоть сопли, хоть юшка, -

ты деревнина дочка... Держись!

Ты шатаешься... Тебе худо...

Но долби и долби, не валясь,

чтобы жизнь получшела повсюду -

и в деревне Великая Грязь».

Страшный ветер меня колошматил,

и когда уже не было сил,

то мне чудился председатель,

как он с Лениным говорил.

И опять я долбила под грохот,

и жила, и дышала одним:

не захлопнется крышка гроба

ни за Лениным, ни за ним!

И я верила в это не словом,

не пустою газетной строкой,

а я верила своим ломом,

и лопатою, и киркой.

А потом и бетонщицей стала,

получила общественный вес.

Вместе с городом я вырастала,

и я строилась вместе с ГЭС.

Но, казалось, под наговор вешний,

лишь вибратор на миг положу -

ничего я на деле не вешу,

отделюсь от земли - полечу!

И летела по небу, летела,

ни бетона не видя, ни лиц,

и чего-то такого хотела,

что похоже на небо и птиц.

Но на радость мою и на горе

над ломающей льдины горой

появился весною в конторе

интересный москвич молодой.

Был он гордый... Не пил, не ругался,

на девчонок глаза не косил.

Увлекался искусством, а галстук

и в рабочее время носил.

Я себя убеждала: «Да что ты!

На столе его, дура, лежит,

понимаешь, не чье-нибудь фото,

а французской артистки Брижитт».

И глядела я в зеркало хмуро

и за словом не лезла в карман:

«Недоучка... Кубышкой фигура...

И румянец уж слишком румян...»

Я купила в аптеке лосьону

для смягчения кожи рук.

Терла, терла я их потаенно

от своих закадычных подруг.

И, терпя от насмешников муку,

только сверху я трогала суп

и крутила проклятую штуку

под названием «хула-хуп».

И читала я книжку за книжкой,

и для бледности уксус пила -

все равно оставалась кубышкой,

все равно краснощекой была.

Виновата ли я, что эпохе

было некогда не до меня,

что росла на черняшке, картохе,

о фигуре не думала я?

Мой румянец - не с витаминов,

не от пляжей, где праздно лежат,

а от хлещущих вьюг сатанинских,

от мороза за пятьдесят.

Ты, наверно бы, так не смеялась,

не такой бы имела ты вид,

если б в Нюшкиной шкуре хоть малость

побывала, артистка Брижитт!

Позабыть я себя заставляю -

никогда позабыть не смогу,

как отпраздновать Первое мая

мы поплыли на лодках в тайгу.

Пили «гымзу» под частик в томате

за любовь и за Братскую ГЭС.

Кто-то был уже в чьей-то помаде...

Кто-то с кем-то куда-то исчез...

Я смотрела тайком пригвожденно,

как, от всех и меня вдалеке,

размышлял у костра отчужденно

он с приемничком-крошкой в руке.

Несся танец по имени «мамба»

и Парижей и Лондонов гул,

и шептала я: «Мамочка-мама,

хоть бы раз на меня он взглянул!»

И взглянул - в первый раз любопытно...

Огляделся - мы были вдвоем,

и, кивнув на вечерние пихты,

он устало сказал мне: «Пойдем...»

И пошла, хоть и знала с тоскою:

оттого это все так легко,

что я рядом была, под рукою,

а француженка та далеко.

Я дрожала, как будто зверюшка,

и от страха, и от стыда.

До свидания, бывшая Нюшка!

До свидания, до свида...

И заплакала я над собою...

Был в испуге он: «Что ты дуришь?»

А в приемничке рядом на хвое

надо мною смеялся Париж.

С той поры тот москвич поразумнел:

и наряды он мне отмечал,

и выписывал новый инструмент,

а как будто бы не замечал.

Но однажды во время работы

закачалося все на земле.

И внутри меня торкнулось что-то,

объявляя само о себе.

Становилось все чаще мне плохо,

не смотрела почти на еду...

Но зачем же, такая дуреха,

я сказала об этом ему?!

Смерил взглядом холодным и беглым

и, приемничком занят своим,

процедил: «Я, конечно, был первым,

но ведь кто-то мог быть и вторым...»

«Семилетку в четыре года!» -

бились лозунги, как всегда,

а от гадости и от горя

я бежала не знаю куда.

Я взбежала на эстакаду,

чтобы с жизнью покончить враз,

но я замерла истуканно,

под собой увидев мой Братск.

И меня, как ребенка, схватила

с беззащитным укором в глазах

недостроенная плотина

в арматуре и голосах.

И сквозь ревы сирен и смятенье

голубых электродных огней

председатель и Ленин смотрели,

и те самые, из лагерей.

И кричала моя деревушка,

и кричала моя Ангара:

«Как ты можешь такое, Нюшка?

Как ты можешь?» И я не смогла.

От бригадных девчат и от хлопцев

положенье скрывая с трудом,

получив полагавшийся отпуск,

я легла на девятом в роддом.

Я металась в постели ночами,

и под грохот и отблески ГЭС

появился наш новый братчанин,

губошлепый, мокрехонький весь.

Появился такой неуемный

и хватался за все, хоть и слаб.

Появился, ни в чем не виновный,

и орал, как на стройке прораб.

И когда его грудью кормила,

председатель, я слез не лила.

В твою честь я сынишку Трофимом,

хоть не модно, а назвала.

Я вникала в свое материнство,

а в палату ко мне между тем

поступали цветы, мандарины,

погремушки, компоты и джем.

Ну, а вскоре сиделка седая,

помогая надеть мне пальто,

сообщила: «Вас там ожидают...»

И, ей-богу, не знала я - кто.

И, прижав драгоценный мой сверток

и, признаться, тревогу тая,

на ногах закачавшись нетвердых,

всю бригаду увидела я.

И расплакалась я неприлично,

прислонившись ослабло к стене.

Значит, все они знали отлично,

только виду не подали мне.

Слезы лились потоком - стыдища!..

Но, меня ото слез пробудив,

«Дай взглянуть-то, каков наш сынишка...» -

грубовато сказал бригадир.

Мне народ помогал, как сберкнижка.

Меня спрашивали с той поры,

улыбаясь: «Ну, как наш сынишка?» -

и монтажники и маляры.

И, внезапно остановившись,

из кабины просунув вихор,

улыбаясь: «Ну, как наш сынишка?» -

мне кричал незнакомый шофер.

Экскаваторщики, верхолазы,

баловали его, шельмецы,

и смущенно и доброглазо

поднимали, как будто отцы.

И со взглядом нетронуто-синим

не умел он еще понимать,

что он сделался стройкиным сыном,

как деревниной дочкою - мать...

И в огромной толпе однокашной

с ним я шла через год под оркестр.

В этот день - и счастливый и страшный -

состоялось открытие ГЭС.

Я шептала тихонечко: «Трошка! -

прижимая сынишку к груди. -

Я поплачу, но только немножко.

Я поплачу, а ты уж гляди...»

И казалось мне - плакали тыщи,

и от слез поднималась вода,

и пошел, и пошел он, светище,

через жилы и провода.

На знаменах торжественно-алых

к людям рвущийся Ленин сиял,

и в толпе средь спецовок линялых

председатель, наверно, стоял.

И под музыку, шапки и крики

вся сверкала и грохала ГЭС...

Жаль, что не был тогда на открытье

буржуазный писатель Уэллс!

...Вот вишу я с подругою Светкой

на стремянке в шальной вышине

и домазываю последки

у плотины на серой спине.

Вроде все бы спокойно, все в норме,

а в руках моих - детская дрожь,

и задумываюсь: по форме

мастерок на сердечко похож.

Я, конечно, в детали не влажу,

что нам в будущем суждено,

но сердечком своим его мажу,

чтобы было без трещин оно.

Чтобы бабы сирот не рожали,

чтобы хлеба хватало на всех,

чтоб невинных людей не сажали,

чтоб никто не стрелялся вовек.

Чтобы все и в любви было чисто

(а любви и сама я хочу),

чтоб у нас коммунизм получился

не по шкурникам - по Ильичу.

Я, конечно, помру, хоть об этом

говорить еще рано пока,

но останусь я все-таки светом

на года, а быть может, века.

И на фабрике, и в кабинете,

и в кругу сокровенном семьи

знайте: лампы привычные эти -

Ильича и немножко мои.

Пусть запомнят и внуки и внучки,

все светлей и светлей становясь:

этот свет им достался от Нюшки

из деревни Великая Грязь.

БОЛЬШЕВИК

Я инженер-гидростроитель Карцев.

Я не из хилых валидольных старцев,

хотя мне, мальчик мой, за шестьдесят.

Давай поговорим с тобой чин чином,

и разливай, как следует мужчинам,

в стаканы водку, в рюмки - лимонад.

Ты хочешь, - чтобы начал я мгновенно

про трудовые подвиги, наверно?

А я опять насчет отцов-детей.

Ты молод, я моложе был, пожалуй,

когда я, бредя мировым пожаром,

рубал врагов Коммуны всех мастей.

Летел мой чалый, шею выгибая,

с церквей кресты подковами сшибая,

и попусту, зазывно-веселы,

толпясь, трясли монистами девахи,

когда в ремнях, гранатах и папахе

я шашку вытирал о васильки.

И снились мне индусы на тачанках,

и перуанцы в шлемах и кожанках,

восставшие Берлин, Париж и Рим,

весь шар земной, Россией пробужденный,

и скачущий по Африке Буденный,

и я, конечно, - скачущий за ним.

И я, готовый шашкой бесшабашно

срубить с оттягом Эйфелеву башню,

лимонками разбить витрины вдрызг

в зажравшихся колбасами нью-йорках, -

пришел на комсомольский съезд в опорках,

зато в портянках из поповских риз.

Я ерзал: что же медлят с объявленьем

пожара мирового? Где же Ленин?

«Да вот он...» - мне шепнул сосед-тверяк.

И вздрогнул я: сейчас ОНО случится...

Но Ленин вышел и сказал: «Учиться,

учиться и учиться...» Как же так?

Но Ленину я верил... И в шинели

я на рабфак пошел, и мы чумели

на лекциях, голодная комса.

Нам не давали киснуть малахольно

Маркс-Энгельс, постановки Мейерхольда,

махорка, Маяковский и хамса.

Я трудно грыз гранит гидростроенья.

Я обличал не наши настроения,

клеймя позором галстуки, фокстрот,

на диспутах с Есениным боролся

за то, что видит он одни березки,

а к индустрийной мощи не зовет.

Был нэп. Буржуи дергались в тустепе.

Я горько вспоминал, как пели степи,

как напряженно-бледные клинки

над кутерьмой погонов и лампасов

в полете доставали до пампасов,

которые казались так близки.

Я, к подвигам стремясь, не сразу понял,

что нэп и есть не отступленье - подвиг.

И ленинец, мой мальчик, только тот,

кто, - если хлеба нет, коровы дохнут, -

идет на все, ломает к черту догмы,

чтоб накормить, чтобы спасти народ.

Кричали над Россией паровозы.

К штыкам дрожавшим примерзали слезы.

В трамваях прекратилось воровство.

Шатаясь, шел я с Лениным проститься,

и, как живое что-то, в рукавице

грел партбилет - такой, как у него.

И я шептал в метельной круговерти:

«Мы вырвем, вырвем Ленина у смерти

и вырвем из опасности любой!

Неправда будет - из неправды вырвем!

Товарищ Ленин, только слезы вытрем -

и снова в бой, и снова за тобой!»

В Узбекистане строил я плотину.

Представь такую чудную картину,

когда грузовиками - ишаки.

Ну, а зато, зовущи и опасны,

как революционные пампасы,

тревожно трепетали тростники.

Нас мучил зной, шатала малярия,

но ничего: мы были молодые.

Держались мы, и, не спуская глаз,

все в облаках, из далей неохватных,

как будто басмачи в халатах ватных,

глядели горы сумрачно на нас.

Всю технику нам руки заменяли.

Стучали мы кирками, кетменями,

питаясь ветром, птичьим молоком,

и я счастливо на топчан валился.

А где-то Маяковский застрелился.

(А после был посажен Мейерхольд.)

Я за день ухайдакивался так, что

дымилась шкура. Но угрюмо, тяжко

ломились мысли в голову, страшны.

И я оцепенело и виновно

не мог понять, что делается - словно

две разных жизни были у страны.

В одной - я строил ГЭС под вой шакалов.

В одной - Магнитка, Метрострой и Чкалов,

«Вставай, вставай, кудрявая...», и вихрь

аплодисментов там, в кремлевском зале...

В другой - рыданья: «Папу ночью взяли...» -

и - звезды на пол с маршалов моих.

Я кореша вопросами корябал,

с Алешкой Федосеевым, прорабом,

мы пили самогон из кишмиша,

и кулаком прораб грозил кому-то:

«А все-таки мы выстроим Коммуну!» -

и, плача, мне кричал: «Не плакать! Ша!»

Но мне сказал мой шеф с лицом аскета,

что партия дороже дружбы с кем-то.

Пронзающе взглянул, оправил френч

и постучал значительно по сейфу:

«Есть матерьялы - враг твой Федосеев...

А завтра партактив... Продумай речь...»

«Так надо!» - он вослед не удержался.

«Так надо!» - говорили - я сражался.

«Так надо!» - я учился по складам.

«Так надо!» - строил, не прося награды,

но если лгать велят, сказав: «Так надо!»,

и я солгу, - я Ленина предам!

И я, рубя с размаху ложь в окрошку,

за Ленина стоял и за Алешку

на партактиве, как под Сивашом.

Плевал я, что мой шеф не растерялся,

а рьяно колокольчиком старался

и яростно стучал карандашом.

Я вызван был в Ташкент. Я думал - это

для выясненья подлого навета.

Я был свиреп. Я все еще был слеп.

Пришли в мой номер с кратким разговором

и увезли в фургоне, на котором

написано, как помню, было «Хлеб».

Когда меня пытали эти суки,

и били в морду, и ломали руки,

и делали со мной такие штуки -

не повернется рассказать язык! -

и покупали: «Как насчет рюмашки!» -

и мне совали подлые бумажки,

то я одно хрипел: «Я большевик!»

Они сказали, усмехнувшись: «Ладно!» -

на стул пихнули, и в глаза мне - лампу,

и свет меня хлестал и добивал.

Мой мальчик, не забудь вовек об этом:

сменяясь, перед ленинским портретом,

меня пытали эти суки светом,

который я для счастья добывал!

И я шептал портрету в исступленье:

«Прости ты нас, прости, товарищ Ленин...

Мы победим их именем твоим.

Пусть плохо нам, пусть будет еще хуже,

не продадим, товарищ Ленин, души,

и коммунизма мы не продадим!»

Мы лес в тайге валили, неречисты,

партийцы, инженеры и чекисты,

начдивы... Как могло такое быть?

Кого сажали, знали вы, сексоты?

И жуть брала, как будто не кого-то,

а коммунизм хотели посадить.

Но попадались, впрочем, здесь и гады...

Я помню, из трелевочной бригады

«мой шеф» в лохмотьях бросился ко мне.

А я ему ответил не без такта:

«Мне партия дороже дружбы. Так-то!»

Он с той поры держался в стороне.

Я злее стал и в то же время мягче.

Страданья просветляют нас, мой мальчик,

и помню я, как, сев на бурелом,

у костерка обкомовец свердловский

Есенина читал нам, про березки,

и я стыдился прежних слов о нем.

Война... Я помню, шибко Гитлер начал...

Но, «враг народа», - для победы нашей

я на Кавказе строил ГЭС опять.

Ее в скале с хитринкой мы долбили,

и «хейнкели» ночами нас бомбили,

но не могли, сопливые, достать.

Вокруг, следя, конвойные стояли,

но ты не понимал, товарищ Сталин,

что, от конвоя твоего вдали,

тобой пронумерованные зеки,

мы шли через моря и через реки

и до Берлина с армией дошли.

Никто героем здесь не назывался.

Над нами красный стяг не развевался,

но бились мы за Родину свою.

И мы, сомкнувшись, как под красным стягом,

отпор давали власовцам, блатягам

и прочей контре, будто бы в бою.

«Врагом народа» так же оставаясь,

я строил ГЭС на Волге, не сдаваясь.

Скрывали нас от иностранных глаз.

А мы рекорды били. Мы плевали,

что не снимали нас, не рисовали

и не писали очерков про нас.

Но я старел, и утешала Волга

и шелестела мне: «Еще недолго...»

А что недолго? Жить? Сутул и сед,

я нес, вконец измотан, свою муку,

когда в уже слабеющую руку

Двадцатый съезд вложил мне партбилет.

Не буду говорить, что сразу юность -

ах, ах! - на крыльях радости вернулась,

но я поехал строить в Братске ГЭС.

Да, юность, мальчик мой, невозвратима,

но посмотри в окно: там есть плотина?

И, значит, я на свете тоже есть.

Я вижу, ты, мой мальчик, что-то грустен.

Ты грусть свою заешь соленым груздем

и выпей-ка, да мне еще налей.

Разбередил тебя? Но я не каюсь:

вас надо бередить... Ну, а покамест

продолжу я насчет отцов-детей.

Ты, помни, видя стройки и плотины,

во что мой свет когда-то обратили.

Еще не все - технический прогресс.

Ты не забудь великого завета:

«Светить всегда!» Не будет в душах света -

нам не помогут никакие ГЭС!

Ты помни наши звездные папахи,

горевшие у нас в глазах пампасы,

бессонницу строительных ночей,

«Я большевик!» - под той проклятой лампой

и веру в жизнь за лагерной баландой...

Ни в чем таких отцов предать не смей!

Ты помни всех, кто корчевал и строил

и кто не лез в герои - был героем,

себе не накопивши ни копья.

Ты помни комиссарскую породу -

они не лгали никогда народу,

и ты не лги, мой мальчик, никогда!

Но помни и других отцов - стучавших,

сажавших или подленько молчавших, -

в Коммуне места нет для подлецов!

Ты плюй на их угрозы или ласки!

Иди, мой мальчик, чист по-комиссарски,

с отцовской правдой против лжи отцов!

И ежели тебе придется туго,

ты не предай ни совести, ни друга:

ведь ты предашь и мертвых и живых.

Иди, мой мальчик! Знай, готовясь к бою:

Алешка, я и Ленин за тобою.

И клятвой повтори: «Я большевик!»

ДИСПЕТЧЕР СВЕТА

Я диспетчер света, Изя Крамер.

Ток я шлю крестьянину, врачу,

двигаю контейнеры и краны

и кинокомедии кручу.

Где-то в переулочках неслышных,

обнимаясь, бродят, как всегда.

Изя Крамер светит вам не слишком?

Я могу убавить, если да.

У меня по личной части скверно.

До сих пор жены все нет и нет.

Сорок лет не старость, это верно,

только и не юность сорок лет.

О своей судьбе я не жалею,

отчего же все-таки тогда

зубы у меня из нержавейки,

да и голова седым-седа!

Вот стою за пультом над водою,

думаю про это и про то,

а меня на белом свете двое,

и не знает этого никто.

Я и здесь и в то же время где-то.

Здесь - дела, а там - тела, тела...

Проволока рижского гетто

надвое меня разодрала.

Оба Изи в этой самой коже.

Жарко одному, другой дрожит.

Одному кричат: «Здорово, кореш!» -

а другому: «Эй, пархатый жид!»

И у одного, в тайге рождаясь,

просят света дети-города,

у другого к рукаву прижалась

желтая несчастная звезда.

Но другому на звезду, на кепку

сыплется черемуховый цвет,

а семнадцать лет - они и в гетто,

что ни говори, семнадцать лет.

Тело жадно дышит сквозь отрепья

и чего-то просит у весны...

А у Ривы, как молитва ребе,

волосы туманны и длинны.

Пьяные эсесовцы глумливо

шляются по гетто до зари...

А глаза у Ривы - словно взрывы,

черные они, с огнем внутри.

Молится она окаменело,

но молиться губы не хотят

и к моим, таким же неумелым,

шелушась, по воздуху летят!

И, забыв о голоде и смерти,

полные особенным, своим,

мы на симфоническом концерте

в складе продовольственном сидим.

Пальцы на ходу дыханьем грея,

к нам выходит крошечный оркестр.

Исполнять Бетховена евреям

разрешило все-таки эсэс.

Хилые, на ящиках фанерных,

поднимают скрипки старички,

и по нервам, по гудящим нервам

пляшут исступленные смычки.

И звучат бомбежки ураганно,

хоры мертвых женщин и детей,

и вступают гулко и органно

трубы где-то ждущих нас печей.

Ваша кровь, Майданек и Освенцим,

из-под пианинных клавиш бьет,

и, бушуя, - немец против немцев, -

Людвиг ван Бетховен восстает!

Ну, а в дверь, дыша недавней пьянкой,

прет на нас эсэсовцев толпа...

Бедный гений, сделали приманкой

богом осененного тебя.

И опять на пытки и на муки

тащит нас куда-то солдатня.

Людвиг ван Бетховен, чьи-то руки

отдирают Риву от меня!

Наш концлагерь птицы облетают,

стороною облака плывут.

Крысы в нем и то не обитают,

ну, а люди пробуют - живут.

Я не сплю, на вшивых нарах лежа,

и одна молитва у меня:

«Как меня, не мучай Риву, боже,

сделай так, чтоб Рива умерла!»

Но однажды, землю молчаливо

рядом с женским лагерем долбя,

я чуть не кричу... я вижу Риву,

словно призрак, около себя.

А она стоит, почти незрима

от прозрачной детской худобы,

колыхаясь, будто струйка дыма

из кирпичной лагерной трубы.

И живая или неживая -

не пойму... Как в сон погружена,

мертвенно матрасы набивает

человечьим волосом она.

Рядом ходит немка, руки в бедра,

созерцая этот страшный труд.

Сапоги скрипят, сверкают больно.

Сапоги новехонькие. Жмут.

«Эй, жидовка, слышишь, брось матрасы!

Подойди! А ну-ка помоги!»

Я рыдаю. С ног ее икрастых

стягивает Рива сапоги.

«Поживее! Плетки захотела!

Посильней тяни! - И в грудь пинком. -

А теперь их разноси мне, стерва!

Надевай! Надела? Марш бегом!»

И бежит, бежит по кругу Рива,

спотыкаясь посреди камней,

и солдат лоснящиеся рыла

с вышек ухмыляются над ней.

Боже, я просил ей смерти, помнишь?

Почему она еще живет?

Я кричу, бросаюсь ей на помощь,

мне товарищ затыкает рот.

И она бежит, бежит по кругу,

падает, встает, лицо в крови.

Боже, протяни ей свою руку,

навсегда ее останови!

Боже, я опять прошу об этом!

Милосердный боже, так нельзя!

Солнце, словно лагерный прожектор,

Риве бьет в безумные глаза.

Падает... К сырой земле прижалась

девичья седая голова.

Наконец-то вспомнил бог про жалость.

Бог услышал, Рива: ты мертва...

Я диспетчер света, Изя Крамер.

Я огнями ГЭС на вас гляжу,

грохочу электротракторами

и электровозами гужу.

Где-то на бетховенском концерте

вы сидите, - может быть, с женой,

ну, а я - вас это не рассердит? -

около сажусь, на приставной.

Впрочем, это там не я, а кто-то...

Людвиг ван Бетховен, я сейчас

на пюпитрах освещаю ноты

из тайги, стирая слезы с глаз.

И, платя за свет в квартире вашей,

счет кладя с небрежностью в буфет,

помните, какой ценою страшной

Изя Крамер заплатил за свет.

Знает Изя: много надо света,

чтоб не видеть больше мне и вам

ни колючей проволоки гетто

и ни звезд, примерзших к рукавам.

Чтобы над евреями бесчестно

не глумился сытый чей-то смех,

чтобы слово «жид» навек исчезло,

не позоря слова «человек»!

Этот Изя кое-что да значит -

Ангара у ног его лежит,

ну, а где-то Изя плачет, плачет,

ну, а Рива все бежит, бежит...

НЕ УМИРАЙ, ИВАН СТЕПАНЫЧ

Не умирай, Иван Степаныч,

не умирай, не умирай...

Нехорошо ты поступаешь,

бросая свой родимый край.

Лежишь ты в Братской горбольнице,

седобородый, у окна,

а над тобой сиделки, шприцы

и белизна, и белизна.

Ты и обласкан и ухожен,

и здесь просторная изба,

но ты уходишь, ты уходишь,

Иван Степаныч, из себя.

Иван Степаныч, верь в леченье,

Иван Степаныч, не спеши...

Но тело медленно легчеет,

освобождаясь от души.

И твои руки тянет, тянет

какой-то силой роковой

земля, темнея под ногтями,

соединиться вновь с землей.

Ты жил на крохотной заимке

в низовье самом Ангары,

и землю знал ты до землинки

еще с мальчишеской поры.

И, как земля, тебе знакома

была от века Ангара,

ее суровые законы,

ее пороги, шивера.

Ты всяким слухам супротивно

не мог поверить целый год,

что поперек нее плотина

стоит и людям свет дает.

Но ты, в раздумьях трудных глядя

на точки красненькие «ТУ»,

котомку все-таки наладил

да и поплыл на верхоту.

И вот увидел ты плотину,

и вот увидел нашу ГЭС,

и, щуплый, седенький, притихло

везде с котомочкою лез.

Не слыша окриков и шуток,

цементной пылью весь покрыт,

плотину ты, не веря, щупал

и убеждался: да, стоит.

И вдруг в глазах все покачнулось

и вбок плотину повело,

и сердце словно бы споткнулось -

устало сердце, подвело.

И ты упал у поворота

и руки странно распростер...

«Вставай ты, дедушка, ну что ты?» -

рыдал молоденький шофер.

Не умирай, Иван Степаныч,

не умирай, не умирай...

Нехорошо ты поступаешь,

бросая свой родимый край.

Когда к Берлину шли солдаты,

то, набираясь к битвам сил,

они варили концентраты,

а эту гречку ты растил.

Врачи, прошу вас, помогите,

его смогите пробудить...

Ну что ж, Берлина победитель,

ты смерть не можешь победить?

Летят по воздуху ракеты,

и космонавты в них сидят.

На спичках даже их портреты...

А хлеб-то твой они едят.

Вот пьют геологи сгущенку,

вторгаясь в дальние края,

а это рыжую Буренку

доила старая твоя.

И пусть у пихт широколапых

пойдет за гробом весь народ,

и пусть, в молчанье снявши шляпы,

за ним правительство идет.

И пусть красивыми стихами

напишут люди, ставя крест,

что здесь лежит Иван Степаныч -

создатель спутников и ГЭС.

ТЕНИ НАШИХ ЛЮБИМЫХ

Есть обычай строителей,

                         древней Элладой завещанный:

если строишь ты дом,

                     то в особенно солнечный день

должен ты против солнца

                         поставить любимую женщину

и потом начинать,

                   первый камень кладя в ее тень.

И тогда этот дом не рассохнется

                                 и не развалится:

станут рушиться горы,

                         хрипя,

                                 а ему ничего,

и не будет в нем злобы,

                         нечестности,

                                     жадности,

                                                 зависти -

тень любимой твоей

                   охранит этот дом от всего!

Я не знаю, в чью тень

                       первый камень положен был

                                                в Братске когда-то,

но я вижу, строители,

                       только всмотрюсь,

как в ревущей плотине

                       скрываются тихо и свято

тени ваших Наташ,

                  ваших Зой,

                             ваших Зин

                                       и Марусь.

И вы знайте, строители, -

                            вел я нелегкую стройку

и в несолнечный день

                      моего бытия

положил этой сложной поэмы

                            неловкую первую строчку

в тень любимой моей,

                    словно в тень моей совести, я.

Тени наших любимых,

                     следите, чтоб мы не сдались

                                                  криводушию!

К неуюту зовите,

                 если опыт уютной неправды займем!

Отступать не давайте

                       в сражении

                                    за революцию!

Проступайте,

              светясь,

                            в глубине красноволных знамен!

И когда мы построим,

                      хотя это трудно, -

                                          Коммуну, -

нам не надо оркестров,

                        не надо речей и наград -

пусть, как добрые ангелы,

                            строго,

                                     тревожно

                                                и юно

тени наших любимых

                     ее

                          охранят!

ТРЕЩИНА

«В плотине трещина!»

Ребята

       вздрагивают.

В машины встречные

ребята

        вскакивают.

Слова набатные

гудят

       по стройке.

Гитары

         с бантами

летят

       на койки.

Какие танцы,

кинокартина?!

Все,

     как повстанцы,

к тебе,

        плотина!

«В плотине трещина!»

Забыв о тосте,

мгновенно трезвые, -

со свадьбы

            гости.

Жених

       при бабочке,

злобясь на моду,

бежит,

        прибавивши,

как можно,

             ходу.

И, «шпильки» снявшая,

за ним на берег

невеста-сварщица -

босая,

        в белом.

Недавно сонные,

все -

       воедино,

чтобы спасенною

была

      плотина!

Живу -

       не ною,

но мне порою

тревожно

           так же,

как ночью тою.

Вот лжец растленно

с трибуны треплется.

Реви,

       сирена!

Тревога -

           трещина!

Пусть эта трещина

такая крохотная

и не зловещая,

а даже кроткая,

но не сворачивать

и не опаздывать!

Опасность вкрадчива.

Хитра опасность.

От грязи пошлой

рыдает женщина...

Скорей на помощь!

Тревога -

           трещина!

Поруган кто-то...

Проснитесь,

              дремлющие!

В машины -

            с лёта.

Тревога -

            трещина!

МАЯКОВСКИЙ

...И, вставши у подножья Братской ГЭС,

подумал я о Маяковском сразу,

как будто он костисто,

                         крупноглазо

в ее могучем облике воскрес.

Громадный,

            угловатый,

                        как плотина,

стоит он поперек любых неправд,

затруженно,

             клокочуще,

                          партийно

попискиванья

               грохотом поправ.

Я представляю,

                как бы он дубасил

всех прохиндеев

                  тяжестью строки

и как бы здесь,

                 тайгу шатая басом,

читал бы он

             строителям стихи.

К нему не подступиться

                         с меркой собственной,

но, ощущая боль и немоту,

могу представить все,

                         но Маяковского

в тридцать седьмом

                       представить не могу.

Что было б с ним,

                    когда б тот револьвер

не выстрелил?

                Когда б он жив остался?

Быть может, поразумнел!

                           Поправел?

Тому, что ненавидел,

                      все же сдался?

А может,

          он ушел бы мрачно в сторону,

молчал,

         зубами скрежеща,

                            вдали,

когда ночами где-то

                      в «черных воронах»

большевиков расстреливать везли?

Не верю!

          Несгибаемо,

                        тараняще

он встал бы и обрушил

                         вещий гром,

и, в мертвых ставший

                       «лучшим и талантливейшим»,

в живых -

           он был объявлен бы врагом.

Пусть до конца тот выстрел не разгадан,

в себя ли он стрелять нам дал пример?

Стреляет снова,

                  рокоча раскатом,

над веком

           вознесенный

                         револьвер -

тот револьвер,

                испытанный на прочность,

из прошлого,

              как будто с двух шагов,

стреляет в тупость,

                         в лицемерье,

                                       в пошлость:

в невыдуманных -

                 подлинных врагов.

Он учит против лжи,

                     все так же косной,

за дело революции стоять.

В нем нам оставил пули Маяковский,

чтобы стрелять,

                 стрелять,

                            стрелять,

                                       стрелять.

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ

Бал,

     бал,

          бал,

               бал на Красной площади!

Бал в двенадцать баллов -

                            бал выпускников!

Бабушка, вы мечетесь,

                        бабушка, вы плачете, -

ваша внучка,

              бабушка,

                          уже без каблуков.

Платье где-то лопнуло,

бусы -

       в грязь,

и на место Лобное

внучка взобралась.

Где стоял ты,

              Стенька,

возле палача, -

абитуриентка

пляшет

       ча-ча-ча.

Бутылки из-под сидра,

                       гитары и транзисторы,

притопы и прихлопы

                      составили оркестр,

и пляшет площадь Красная,

                             трясется и присвистывает -

не то сошел антихрист,

                        не то Христос воскрес.

Бедные дружинники

глядят,

         дрожа,

как синенькие джинсики

дают

     дрозда.

Лысый с телехроники,

с ног чуть не валясь,

умоляет:

          «Родненькие,

родненькие,

              вальс!»

Но на просьбы робкие -

свист,

        свист,

и танцуют

            родненькие

твист,

       твист...

Бродит среди праздника,

словно нелюдим,

инженер из Братска

с ежиком седым.

Парни раззуденные

пляшут и поют,

Петьку в разбуденовке

в нем не узнают.

«Что,

       вам твист не нравится?»

«Нет,

       совсем не то, -

просто вспоминается

кое-что...»

Ни к чему агитки,

только видит он

и парней Магнитки,

и ее бетон.

...Пляшут парни на бетоне,

пляшут пять чубов хмельных.

Пляшут парни,

               наподобье

виноделов чумовых.

Пляшут звездные, лихие

разбуденовки парней

пляску детства индустрии,

пляску юности своей.

...Бал,

        бал,

              бал на Красной площади!

Бывший Петька смотрит из-под седины:

«Хоть и странно пляшете -

                          здоровы вы пляшете,

только не забудьте,

                     как плясали мы...»

Ты смеешься звонко,

девчушка под Брижитт,

ну, а где-то Сонька

неподвижная лежит.

...Что ты, Сонька, странно смолкла?

Что ты, Сонька, не встаешь?

Книжку тоненькую МОПРа

просадил бандитский нож...

Тот бетон, ребята,

                     мы для вас месили,

и за это самое

                мстили нам враги.

Не забудьте, «гвоздики»

                        или «мокасины»,

Сонькины разбитые сапоги...

Смена караула,

затихает смех.

Словно ветром сдуло

к Мавзолею всех.

Парни и девчата

глядят вперед,

как, шаги печатая,

караул идет.

Чистым будь, высоким,

молодое племя!..

Не простит вам Сонька,

не простит вам Ленин!

В бой зовет Коммуна!

Станьте из детей

сменой караула

у ленинских дверей!

В МИНУТУ СЛАБОСТИ

Когда

      в тупом благоденствии

мозолит глаза

               прохиндейство,

мне хочется

             в заросли девственные,

куда-нибудь,

              хоть к индейцам.

Но нету

        девственных зарослей.

Индейцы

         давно повымерли.

И сердце

          тоской терзается,

словно телок -

               по вымени.

Но стыдно, ей богу,

                      плакаться,

что столько подонков,

                     дескать.

Стыдно

        от времени

                   прятаться -

надо

     его

         делать!

Разные водятся пряточки:

прячутся в гогот,

                   в скулеж,

прячутся в мелкие правдочки,

прячутся в крупную ложь.

Прячутся в лжезаботы,

в танцы,

         футбол,

                 вино,

в рыбалки

           и анекдоты,

в карты

         и домино.

Прячутся,

           словно маленькие,

в машину

         и дачу свою,

в магнитофоны,

               в марки,

в службу,

          друзей,

                  семью.

Но стыдно -

            кричу я криком -

прятаться даже в природу,

даже в бессмертные книги,

даже в любовь

              и работу!

Я знаю,

         сложна эпоха

и трудно в ней разобраться,

но если в ней что-то плохо,

то надо не прятаться -

                       драться!

Не в одиночку драться,

а вместе со всем народом,

вместе с рабочими Братска,

с физиком

            и хлеборобом!

И я,

     если мучат сомнения,

ища

    от них

             исцеления,

иду

    ходоком

             к Ленину,

иду

    ходоком

             к Ленину...

Многие страны я видел.

Твердо

       в одном

                разобрался:

ждет нас

          всеобщая гибель

или

    всеобщее братство.

В минуты

          самые страшные

верую,

       как в искупленье:

все человечество страждущее

объединит

            Ленин.

Сквозь войны,

                сквозь преступления,

но все-таки без отступления,

идет человечество

                  к Ленину,

идет человечество

                  к Ленину...

НОЧЬ ПОЭЗИИ

Скрипело солнце на крюке у крана,

спускаясь в глубь ангарской быстрины.

Стояла ГЭС, уже темнея справа

и вся в закате - с левой стороны.

Она играла с Ангарой взметенной

и сотворяла волшебство с водой,

ее впуская справа - темной-темной,

а выпуская слева - золотой.

И мы, в ошеломлении счастливом,

зубами ветер цапая взаглот,

на катерке храпливом и скакливом

летели к морю Братскому вперед.

Алело все... Над алыми волнами

подпрыгивали алые сиги,

и вот явилось море перед нами

в зеленой люльке матери-тайги!

Шалило море с блестками рыбешек,

с буйками и прибрежным ивняком

и баловалось - вправду, как ребенок,

что погремушкой - нашим катерком.

И к поручням, притихшие, припали,

глазами по-отцовски заблестя,

строители, монтажники, прорабы, -

ведь это море было их дитя.

И худенькая женщина шептала,

забыв при всех приличья соблюдать,

припав щекой к тельняшке капитана:

«Ах, Паша, Паша, что за благодать!»

И он ее рукой в наколках обнял,

свободною другой держа штурвал...

«Муж и жена... Они поэты оба...» -

матросик рыжий мне растолковал.

Я наблюдал за странною семьею

поэтов.

        Был уже немолод Павел,

но буйно, по-мальчишьи, чуб седой

на синие есенинские падал.

Да и она была немолода...

Виднелись из-под гребня на затылке,

сквозь краску проступая иногда,

сединки в шестимесячной завивке.

И кожа ее красных, тяжких рук,

как и у всех стиравших много женщин,

потрескалась...

                Но пробивалось вдруг

девчоночье, живое в их движеньях.

И с радостной смущенностью в глазах,

как если бы ей взять да нарядиться,

на месяц бледный мужу показав,

она вздохнула тихо: «Народился...»

Причалил катер к берегу, и Павел

нам объявил начальственно:

                           «Привал!»

Кто хворост нес, а кто палатку ставил,

а кто уже бутылки открывал.

Стемнело.

          За сплетеньем звезд и веток

невидимо шумела Ангара.

Кулеш в котле клохтал.

                       Под мокрым ветром

кренились крылья красные костра.

Ну, а матросик шустрый тот -

                           Серенька -

аккордеон трофейный развернул,

ремень плечом напряг, взглянул серьезно,

а после подмигнул и - резанул!

Он то мотал кудрявой головою,

то прыгал чертом на одной ноге,

как будто рыжик, приподнявший хвою

в угрюмо настороженной тайге.

В траву за поллитровкой поллитровку

швыряли мы, смыкаясь все тесней,

а то, что иглы падали в «зубровку»,

так с ними было даже и вкусней.

И я себя почувствовал собою,

и я дышал отчаянно, легко,

и было мне так чисто, так свободно,

и все иное было далеко.

Тут попросили почитать, и снова

почувствовал я где-то в глубине:

нет у меня чего-то основного,

что нужно этим людям, да и мне.

Стихи свои расставив на смотру,

я, мучась, выбирал.

                       Не выбиралось,

а поточней сказать - не вымерялось

по этим лицам, соснам и костру.

Ну а Серенька - под сосновый шелест

с грустцой кладя на инструмент висок

и пальцами на клавиши нацелясь,

спросил меня привычно:

                         «Под вальсок?»

Не понял я, а он в ответ на это

вздохнул, беря обиженно пассаж:

«Я думал, что умеют все поэты

под музыку читать, как Пашка наш...»

Прочел я что-то...

                   После вышел Павел.

Взглянул высокомерно и темно,

ремень матросский с якорем оправил,

чуб разлохматил и кивнул: «Танго!»

И стал читать нахмуренно...

                              Сквозь всех

глядел, шатаясь, как при шторме, тяжко.

Рука терзала драную тельняшку

так, что русалки лезли из прорех.

«Забудьте меня, родственники, дети!

Забудь меня, ворчащая жена!

Я молодой! Уйду я на рассвете

туда, где ждет лучистая ОНА.

И я ее лобзать на травах буду

и ей сплетать из орхидей венки,

и станут о любви трубить повсюду

герольды наши - майские жуки.

Не будет облаков над нами хмурых,

ни змей, ни скорпионов на пути,

и будут астры в белых куафюрах

за нами, словно фрейлины, идти!»

И мы молчали добро, осененно,

и улыбались кротко и светло.

«Ну что - сильну?» - торжествовал Серенька,

и я ответил искренне: «Сильну!»

А между тем «ворчащая жена»

на выпады нисколько не ворчала.

Она кулеш мешала и молчала,

в свой отрешенный мир погружена.

Чему-то там неслышному внимая,

глядела на трещавшее смолье.

А Павел сделал жест широкий: «Майя,

ну что ты там сидишь? Прочти свое...»

И Майя, почему-то сняв сережки,

с ним рядом так хрупка и так мала,

в круг вышла, робко стала посередке,

потом кивнула ждущему Сереньке:

«Страдания».

              И тихо начала:

«Уж вы, очи мои, мои очи,

я не знаю, в чем ваша вина.

Слез моих добивались то отчим,

то бескормица, то война.

И как будто ему станет легче,

если буду я плакать от мук,

добивался их, душу калеча,

мой любимый неверный супруг.

Мои очи тоской тяжелеют,

да не очи, а просто глаза,

и никто меня не пожалеет,

хоть катись золотая слеза...»

Но, творческую зависть, видно, спрятав,

муж проворчал с цигаркою во рту:

«Безвыходно... Насчет меня - неправда...»

А Майя: «Ладно, с выходом прочту...»

И на обрыве самом встала Майя

перед костром, светясь в его огне,

глаза куда-то к звездам поднимая,

рукою обращаясь к Ангаре:

«Ангара моя, Ангарушка,

ты куда бежишь? Постой!

Я стою, бледней огарочка,

над твоею синетой.

Помнишь парня - звали Пашкою?

Он далеко заплывал.

В косу мне, тобою пахнущую,

он саранки заплетал.

Сколько желтого песку

в туфельки насыпалось!

Сколько раз мы целовались,

а я не насытилась!

Где теперь вы, туфли-модницы?

Где ты, зорюшка-коса?

Убежала моя молодость,

словно с колышком коза.

Ангара моя, Ангарушка,

сколько жалуешь ты нам!

Над тобой белее гаруса -

залюбуешься! - туман.

Над тобою ели-сосенки,

мишек умные глаза.

Словно маленькие солнышки,

в тебе ходят хайрюза.

И летают утки-уточки,

и пичуги гомонят,

ну, а губы шутки-шуточки

давно не говорят.

Я как белочка бедовая, -

только зубки выщерблены!

Я как шишечка кедровая, -

да орешки выщелканы!

Ангара моя, Ангарушка,

ты мне счастье нагадай.

Не забуду я отдарочка,

только молодость мне дай!

Поперек тебя плотина,

а над нею - красный флаг.

Подплыву к плотине тихо

и скажу плотине так:

«Ты впусти меня, плотина,

вместе с буйною водой,

ну, а выпусти, плотина,

молодою-молодой.

Ты свети, свети, плотина,

через горы и леса!

Ты сведи, сведи, плотина,

все морщиночки с лица...»

Ты «с выходом» прочесть хотела, Майя!

Я понял тебя, Майя... Выход в том,

чтоб озарял нас, души просветляя,

тот свет, который сами создаем.

И думал я еще о нашей тяге

к поэзии... О, сколько чистых душ

к ней тянется, а вовсе не стиляги,

не «толпы истерических кликуш»!

И стыдны строчки ложные, пустые,

когда везде - и у костров таких -

стихи читает чуть не вся Россия

и чуть не пол-России пишет их.

Я вспомнил, как в такси московском ночью,

вбирая мир в усталые глаза,

немолодой шофер, дымивший молча,

мне прочитал свой стих, не тормозя:

«Жизнь прошла... Закрылись карусели...

Ну, а я не знаю, как мне быть.

Я б сумел тебя, Сергей Есенин,

не в стихах - так в петле заменить!»

И пишут, пишут - пусть корявым слогом, -

но морщиться надменно, право, грех,

и если нам дано хоть малость богом,

то мы должны писать за всех, для всех!

Ведь в том, что называют графоманством,

Россия рвется, мучась и любя,

тайком, тихонько или громогласно,

но выразить, но выразить себя!

Так думал я, и, завершая праздник,

мы пели песни дальней старины

и много прочих песен - самых разных,

да и - «Хотят ли русские войны?...».

И, черное таежное мерцанье

глазами Робеспьера просверлив,

бледнея и горя, болгарин Цанев

читал нам свой неистовый верлибр:

«Живу ли я?

«Конечно...» - успокаивает Дарвин.

Живу ли я?

«Не знаю...» - улыбается Сократ.

Живу ли я?

«Надо жить!» - кричит Маяковский

и предлагает мне свое оружие,

чтобы проверить, живу ли я».

Кругом гудели сосны в исступленье,

и дождь шипел, на угли морося,

а мы, смыкаясь, будто в наступленье,

запели под гитару Марчука:

«Но если вдруг когда-нибудь

                            мне уберечься не удастся,

какое б новое сраженье

                        ни покачнуло шар земной,

я все равно паду на той,

                         на той, далекой,

                                          на гражданской,

и комиссары в пыльных шлемах

                                склонятся молча надо мной...» [4]

И, появившись к нам на песню сами,

передо мной - уже в который раз! -

в тех пыльных шлемах встали комиссары,

неотвратимо вглядываясь в нас.

Они глядели строго, непреложно,

и было слышно мне, как ГЭС гремит

в осмысленном величии - над ложным,

бессмысленным величьем пирамид.

И, как самой России повеленье

не променять идею на слова,

глядели Пушкин, и Толстой, и Ленин,

и Стенькина шальная голова.

Я счастлив, что в России я родился

со Стенькиной шальною головой.

Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,

Россия, материнский образ твой.

Сгибаясь под кнутами столько лет,

голодная, разута и раздета,

ты сквозь страданья шла во имя света,

и, как любовь, ты выстрадала свет.

Еще немало на земле рабов,

еще не все надсмотрщики исчезли,

но ненависть всегда бессильна, если

не созерцает - борется любовь.

Нет чище и возвышенней судьбы -

всю жизнь отдать, не думая о славе,

чтоб на земле все люди были вправе

себе самим сказать: «Мы не рабы».Братск - Усть-Илим - Суханово - Сенеж - Братск - Москва 1964

Примечания 1

Селедка - полицейская шашка (жарг.). 2

Cалиас - популярный в то время среди мещанства писатель. 3

Е.Винокуров 4

Б.Окуджава